
ПОМНЯТ
ТОЛЬКО
МЁРТВЫЕ
Он встречает тех, кто только что умер
18+
ДМИТРИЙ БЕККЕР

Дмитрий Бэйкер

Помнят только мёртвые

«Автор»
2026

Бэйкер Д.

Помнят только мёртвые / Д. Бэйкер — «Автор», 2026

Алексея Кожевникова забывают за одну ночь. Стюардесса, официант, родная мать — наутро никто не помнит, что он был.Помнят только мёртвые.Четыре года назад Алексей утонул в Пахре под Подольском. Теперь гул под грудиной ведёт его по всему миру — в Токио, Осаку, Апулию, Тбилиси — туда, где кто-то вот-вот умрёт. Его работа не спасать, а встречать: сидеть рядом, пока человек не примет свою смерть и не увидит свою дверь. Тех, к кому никто не пришёл, ждёт совсем другое.О своей смерти Алексей давно перестал думать. Но в подольских новостях мелькает заметка: курьер «напился и упал в овраг», хотя не пил никогда. И Алексею приходится вернуться домой — к отцу, бывшему следователю, который четыре года не верит, что его сын просто утонул.Отец забудет его к утру. Значит, каждое утро придётся знакомиться заново.

© Бэйкер Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Запись # 1413 5
Глава 2. Шинигами 10
Глава 3. Окна 19
Глава 4. Хороший день 26
Глава 5. Комната 302 33
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Дмитрий Бэйкер
Помнят только мёртвые

Глава 1. Запись # 1413

Есть люди, которых забывают через год после похорон. Есть такие, кого забывают ещё при жизни: старики в дальних комнатах, солдаты в чужих полях, жёны, мужья. Это обычное забвение, медленное и почти милосердное. Оно стирает лицо постепенно.

Алексея Кожевникова забывали за сутки.

Не постепенно и без жалости, а целиком: голос, имя, цвет глаз, разговор, который был вчера, и деньги, которые он вчера заплатил. Мир каждое утро открывал глаза и не находил в себе ни одного следа от него, как песок после прилива не помнит ног. И мир не был в этом виноват. Мир просто так был устроен - или так был устроен сам Алексей, тут уж как посмотреть.

Даже пока он стоял перед ними, его лицо у них не держалось. Живые смотрели на него - и взгляд соскальзывал: на плечо, на руки, на стену за спиной. Отвернутся - и не скажут, какой он. Через сутки не скажут, что он вообще был.

* * *

Самолёт шёл над Китаем, на высоте одиннадцати тысяч метров. Внизу, в черноте, медленно проплывали светящиеся пятна городов. Они были похожи на рассыпанную по тёмному сукну мелочь, которую никто не собирался поднимать.Алексей сидел у окна, в бизнес-классе. Кресло раскладывалось в кровать, но он его не раскладывал. Ему было всё равно, где сидеть. В первые месяцы он покупал первый класс и люксы с видом на океан, заказывал вино, названия которого не мог выговорить. Он делал это с тем злым, мстительным удовольствием, с каким ребёнок ломает игрушку, которую ему не дали. Потом удовольствие кончилось. Осталась привычка брать место у окна.

- Ещё воды? - Стюардесса наклонилась к нему. У неё было круглое японское лицо и усталые глаза над профессиональной улыбкой.

- Да, спасибо.

- Вы летите домой или в гости?

Она спрашивала не из вежливости, ей правда было интересно: ночной рейс, полупустой салон, а он за семь часов ни разу не уснул и не включил экран. Такие пассажиры вызывают у стюардесс беспокойство. Смотрела она при этом чуть мимо - на подлокотник, на плечо. Все так смотрели.

- По работе, - сказал он.

- О, вы, наверное, очень много работаете.

- Много.

Она улыбнулась ещё раз и ушла по проходу. Он проводил её взглядом и спокойно подумал: «Завтра к этому часу ты меня не вспомнишь. Ни этого разговора, ни воды. Будешь рассказывать подруге про рейс и скажешь: тихий был, все спали».

Когда-то давно, в самом начале, он проверял: писал записки. Оставлял женщине в кафе, где завтракал три дня подряд, листок под блюдцем: «Это я, Лёша, мы вчера говорили про вашего сына». На следующее утро она брала листок, читала, переворачивала, читала снова. Потом с вежливым недоумением спрашивала у него, у нового посетителя, не его ли это. Он отвечал, что нет. Она выбрасывала записку в мусор.

Вещи оставались, деньги оставались. Чаевые, которые он оставлял официантам, так и лежали у них в карманах. Цветы, которые он однажды купил незнакомой девушке на остановке,

просто так, потому что она плакала, назавтра стояли у неё в банке на подоконнике. Она смотрела на них и не могла понять, откуда они взялись.Оставалось всё, кроме него.

* * *

Зов пришёл позавчера, в Дубае, в номере на сорок каком-то этаже.

Он стоял у окна и смотрел, как над заливом краснеет мутное от пыли солнце. И вдруг под грудиной, чуть левее середины, низко и тяжело загудело, как будто там ударили в камертон. Этот гул нельзя было услышать ушами. Он был в костях, в зубах, в корнях волос. Так, должно быть, чувствуют землетрясение собаки, за минуту до первого толчка.Алексей сел на кровать, закрыл глаза и стал ждать.

Гул был не просто звуком: в нём было знание. Сначала приходило направление - на восток, далеко, через море. Потом место, проступавшее, как изображение на старой фотобумаге в проявителе: город, огромный, многоэтажный, ночной, потом улица, здание, этаж. И наконец время, самое точное из всего: четверг, три часа семнадцать минут ночи по местному.

Кто - гул никогда не говорил. Это всегда оставалось на потом.

Он открыл глаза, взял телефон и купил билет до Токио. На это ушло четыре минуты. Потом он достал из рюкзака тетрадь - чёрную, в клеёнчатой обложке, четвёртую по счёту, - и написал на новой странице: « 1 413. Токио. Чт, 3:17». И оставил место для имени.

* * *

Эта тетрадь была единственной вещью на свете, которая его помнила.

Вернее, не так. Помнили его ещё мёртвые. Все тысяча четыреста двенадцать человек, которых он встретил в первые минуты после их смерти. Большинство уходило быстро: полчаса, два слова, рука в руке - и дверь. Бывало, по три за день. Тех, кто держал его неделю, было немного. Помнили, пока были здесь. Но здесь они не задерживались - им нельзя было задерживаться. Потом они уходили туда, куда уходят, и Алексей не знал, помнят ли они его там. Он надеялся, что помнят. Он никогда в этом не признавался даже себе, но надеялся.

А тетрадь лежала в рюкзаке. Она была тяжёлая, тёплая от его спины, исписанная его почерком. В ней были имена, города, даты и короткие пометки. Иногда одно слово: «плакал». «Смеялась». «Спрашивал про собаку». «Не поверил до конца». «Просил передать дочери». Последняя пометка встречалась чаще, чем ему хотелось бы. Передать он не мог ничего - назавтра дочь не помнила бы, кто ей это передал, и не поверила бы. Но он всё равно записывал.

* * *

Самолёт качнуло, мигнула надпись про ремни. Алексей пристегнулся и снова стал смотреть в окно, где не было ничего, кроме собственного отражения: худое, ещё почти мальчишеское лицо, тёмные волосы, давно не стриженные, и глаза, которые казались старше всего остального.

Ему было двадцать три года. Теперь ему всегда будет двадцать три.

Он не успел ничего. Не успел толком влюбиться, не успел ни в чём как следует разочароваться, не успел сделать ни одной настоящей подлости и ни одного настоящего подвига. Жизнь его была как черновик, который начали и бросили на середине фразы. Иногда, особенно ночами, в самолётах, Алексей думал: может, в этом всё дело? Может, там, куда уходят все, его просто не смогли взвесить - нечего было класть на весы? Ни туда, ни сюда. Ни грехов, ни заслуг. Одна недописанная строчка.

Это была только догадка. Спросить было не у кого.

Он не любил своё отражение. Он слишком хорошо помнил, как его лицо видела мать.

Он ходил к ним три раза.

В первый раз он не выдержал. Тогда он ещё не знал правил и ничего не понимал. Это было через несколько недель после - после того, о чём он не любил думать. Он просто поехал домой, в Подольск, на электричке, как ездил сто раз. Поднялся на четвёртый этаж и позвонил в знакомую дверь с латунным номером «43», у которого вечно отваливалась тройка.

Открыла мать.

Он до сих пор не знал, что это был за звук, который она издала. Не крик и не плач. Что-то, что рождается в теле раньше голоса. Она схватилась за дверной косяк и стала оседать вниз, медленно, не отрывая от него глаз. Из комнаты выскочил отец, в майке, с газетой в руке. Он увидел Алексея и встал. Просто встал посреди прихожей и стоял, и газета у него в руке мелко-мелко тряслась.

Потом было много всего. Они трогали его лицо, руки, волосы. Мать говорила «Лёшенька, Лёшенька» и не могла остановиться. Отец молчал, только держал его за плечо так сильно, что потом остались синяки. Синяки остались, а память нет. Мать ставила чайник, роняла чашки, снова ставила чайник. Отец в какой-то момент ушёл в ванную и включил воду, чтобы не было слышно. Он всегда так делал.

Алексей остался ночевать. Он лёг в своей старой комнате, где на стене ещё висел плакат, который он сам когда-то повесил криво. И слушал, как они шепчутся на кухне, - счастливо, неверяще, счастливо.Утром он вышел на кухню. Мать стояла у плиты.

Она обернулась на шаги. Лицо её стало белым. Потом она закричала - уже по-настоящему, потому что в кухне её квартиры стоял её мёртвый сын.

И всё повторилось с самого начала.

Во второй раз он пришёл через месяц, надеясь, что что-то изменилось. Не изменилось. В третий - уже ничего не надеясь, просто потому, что был день рождения отца, а он не мог не прийти. Он смотрел, как отец роняет газету, и думал: «Я это сделал. Я делаю это с ними уже третий раз. Им больно, как впервые, каждый раз - как впервые. Потому что для них это и есть впервые».

В четвёртый раз он постоял через дорогу, у ларька, где раньше продавали шаурму, а теперь - ключи и ремонт обуви. Он видел, как мать вышла на балкон, вытряхнула коврик и ушла обратно. На ней был старый синий халат. Она выглядела старше, чем он её помнил. Она не посмотрела вниз.

Он постоял ещё немного и уехал.

Больше он не приезжал.

* * *

Токио встретил его мелким дождём, который не столько падал, сколько висел в воздухе. Свет фонарей стоял в нём мутными шарами.

Паспортный контроль он прошёл с японским паспортом. Сам он этих паспортов не выбирал: они просто были, все, в отдельном кармане рюкзака, разных цветов. Как они появились и кто их выпустил, он не знал. Он вообще многого не знал о собственной жизни. Иногда он думал, что знает о ней примерно столько, сколько знает о своей жизни почтовый голубь: куда лететь - и всё.

Офицер посмотрел в паспорт, потом на него - на воротник куртки, на руки на стойке, - поставил штамп и сказал по-японски что-то дежурно-вежливое. Алексей ответил по-английски - японского он не знал. С живыми он был обычным человеком, не знающим японского. Только с мёртвыми он понимал всё и на всех языках. Он не знал почему. Он принимал это так же, как принимал гул под грудиной, - без вопросов. Вопросы он задавал первые полгода. Отвечать было некому.

Было начало одиннадцатого вечера. До трёх семнадцати оставалось больше пяти часов.Он взял такси и назвал адрес, который не знал, но который знал гул. Таксист, пожилой человек в белых перчатках, кивнул и поехал. Дворники ходили по стеклу медленно, с достоинством. Город за окном был огромен и бесшумен - бесконечные огни, мокрый асфальт, автоматы с напитками, светящиеся в переулках, как маленькие алтари. Он попросил высадить его за квартал и дальше пошёл пешком.

* * *

Здание было обычным - стекло и серый бетон, двадцать с чем-то этажей, на козырьке название страховой компании. Внизу, в пустом холле, за стойкой дремал охранник. Почти все окна были тёмными. Только на четырнадцатом этаже горела одна полоса - длинная, ровная, холодная. Ряд ламп над рядом столов.Гул под грудиной стал другим: ровнее, ниже, ближе. Это было там.

Алексей перешёл улицу и сел на скамейку под пластиковым навесом автобусной остановки. Автобусы уже не ходили. Он поставил рюкзак рядом, достал тетрадь и положил её на колени, не открывая.

Он никогда не входил внутрь до. Ни разу. В самом начале он пробовал - вбегал, кричал, хватал за руки, вызывал скорую за полчаса. Однажды он тащил женщину из машины, которая через двадцать минут должна была съехать с моста. Он её вытащил. Она вырвалась, ударила его, закричала, вызвала полицию. Через двадцать минут она сидела за рулём другой машины - машины полицейского, который отвозил её домой. И мост был тот же самый.После этого он больше не пробовал.

Он просто ждал. Это была его работа: не спасать, а встречать.

Он сидел и смотрел на окно четырнадцатого этажа. Иногда там проходила тень, кто-то вставал из-за стола, отходил куда-то и возвращался. Один человек, один на весь этаж, на всё здание, в одиннадцать вечера, потом в полночь, в час, в два. Алексей не видел его лица, только движение: встал, отошёл, вернулся, сел.

Дождь кончился, город затих настолько, насколько вообще может затихнуть город в тридцать восемь миллионов человек. По улице проехала уборочная машина - медленная, оранжевая, мигающая. Через полчаса проехала ещё одна. Или та же.

В два сорок тень перестала вставать.

В три десять Алексей встал и убрал тетрадь в карман куртки.

В три семнадцать гул под грудиной оборвался.

Так было всегда: он нарастал, нарастал, а потом вдруг исчезал разом, будто кто-то положил ладонь на дрожащую струну. И в наступившей тишине Алексей всегда чувствовал одно и то же - то, что чувствуешь, когда в соседней квартире перестаёт работать холодильник: ты и не замечал его, пока он гудел, а теперь замечаешь тишину.

Он перешёл улицу и встал у стеклянной двери. Охранник спал, уронив голову на грудь. Ничего не случилось. Ничего во всём здании не изменилось, никто не закричал, не вызвал скорую. Его найдут утром: уборщица, или первый пришедший коллега, или начальник. Алексей ждал.

* * *

Минуты через четыре - иногда это было быстрее, иногда дольше, - в глубине холла открылись двери лифта.Из лифта вышел человек в белой рубашке с закатанными рукавами и в съехавшем набок галстуке. Невысокий, полноватый, с залысинами, лет сорока с лишним. В руке он держал папку. Он прошёл мимо стойки охранника и вежливо, коротко поклонился. Охранник не поднял головы. Человек остановился, сказал что-то, подождал, но охранник спал.

Человек нахмурился, пожал плечами и пошёл к выходу. У двери он задержался - стеклянная дверь не открылась перед ним. Он стоял и смотрел на неё растерянно, как смотрят на автомат, который проглотил монету. Потом шагнул к стеклу вплотную.

И увидел Алексея.

Наверное, это было первое за последние десять минут, что вело себя нормально. Человек по ту сторону стекла смотрел прямо на него. Лицо японца дрогнуло от облегчения. Он поднял руку, показал на дверь, пожал плечами, улыбнулся виновато: мол, извините, не открывается, не подскажете?Алексей кивнул и положил ладонь на стекло.

- Пройдите насквозь, - сказал он по-русски. Японец услышал его по-японски: так это работало. - Просто идите. Не останавливайтесь.

Японец нахмурился, потом улыбнулся - так улыбаются очень вежливому сумасшедшему, которого не стоит обижать. Он шагнул вперёд, явно собираясь показать, что это невозможно.

И прошёл.

Он стоял на мокром тротуаре, рядом с Алексеем, и смотрел на свои руки. На папку в руках. На стеклянную дверь за спиной. Снова на руки.

- Простите, - сказал он очень тихо. - Простите, я, кажется… я сегодня очень устал. Я, кажется, задремал на работе. Это иногда бывает. Простите.

- Ничего, - сказал Алексей. - Как вас зовут?

- Огава. Огава Тэцуя. - Человек машинально поклонился и полез в нагрудный карман за визиткой. Карман был пуст. Он похлопал по нему, растерянно, ещё раз. - Простите. Я… Мне нужно вернуться. У меня отчёт. Его нужно сдать к девяти утра, я обещал начальнику отдела. Я почти закончил, мне осталась одна таблица…

Он говорил быстро, торопливо, стараясь удержаться на словах. Алексей слышал это уже тысячу четыреста двенадцать раз. Каждый держался за своё. Одна женщина в Неаполе держалась за то, что не выключила утюг. Старик в Оклахоме - за то, что не покормил лошадей. Мальчик в Каире, четырнадцать лет, - за контрольную по математике.

А этот - за таблицу.

- Огава-сан, - сказал Алексей. - Давайте присядем.

- Мне правда нужно…

- Я знаю. Давайте присядем. Ненадолго. А потом решим, что с таблицей.

Огава поднял на него глаза. Только сейчас он, кажется, по-настоящему разглядел, кто перед ним стоит: мальчишка, ровесник стажёров из его отдела, тех, кому он сам объяснял, как заполнять бланки. В этом взгляде впервые мелькнуло что-то, кроме вежливости и усталости, - что-то испуганное и очень детское. Он стоял в мокрой белой рубашке под мелким, снова начинающимся дождём. И дождь, Алексей видел это, проходил сквозь него, не оставляя на рубашке ни пятнышка.

Огава тоже это увидел.

Он медленно поднял ладонь, повернул её к небу и смотрел, как капли падают сквозь неё на асфальт.

- Я ведь не задремал, - сказал он. Это был не вопрос.

- Нет, - сказал Алексей. - Не задремали.

Они сели на скамейку под навесом. Огава положил папку на колени и аккуратно, двумя руками, выровнял её края.Алексей достал из кармана тетрадь, открыл её на нужной странице и под строчкой « 1413. Токио. Чт, 3:17» написал: «Огава Тэцуя».

Он не торопился: время у них было. Немного - но было.

Глава 2. Шинигами

- Что вы сейчас чувствуете, Огава-сан?

Огава не ответил сразу. Он сидел очень прямо, как сидят на собеседовании, на самом краешке скамейки, и держал папку на коленях обеими руками. Дождь снова шёл, мелкий, ленивый. Он падал сквозь Огаву, и на асфальте под скамейкой собиралась лужица. В ней отражался фонарь и Алексей, а Огава не отражался.

- Чувствую? - переспросил Огава. - Простите, я не совсем понимаю вопрос.

- Холодно вам? Страшно? Больно где-нибудь?

Огава задумался, честно, по-деловому, как будто его спросили о квартальных показателях.

- Нет, - сказал он наконец. - Не холодно. И не больно. Знаете, у меня последние года три болела спина. Вот здесь, слева, под лопаткой. Я думал, это от стула. Хотел купить ортопедический, но всё откладывал. - Он пошевелил плечом. - А сейчас не болит.

- Это было сердце, - тихо сказал Алексей. - Не спина.

Огава кивнул.

- Да. Наверное. Жена говорила, чтобы я сходил. Я обещал, что после закрытия квартала. - Он поправил папку на коленях. - Квартал закрывается в пятницу.

- Сегодня четверг.

- Да. Сегодня четверг.

Алексей не торопил. Это было первое, чему он научился, и самое трудное: не торопить. Человеку нужно время, чтобы просто посидеть рядом со своей смертью, как сидят рядом с незнакомцем в приёмной, - искоса поглядывать, привыкать.

Где-то за спиной, внутри Алексея, тикало. Не часы - он давно не носил часов. Тикало то знание, которое он не любил и с которым ничего не мог поделать. Время здесь у мёртвых было не бесконечным. Иногда три дня, иногда день, иногда меньше. Никто не говорил ему точного срока. Но он видел, что бывает с теми, кто не успел, и не хотел увидеть это снова.

Потому что Лимб - Алексей сам не знал, откуда взялось это слово, оно просто было у него в голове с самого начала, как паспорта в рюкзаке, - Лимб открывался не по расписанию. Он открывался, когда человек был готов. Когда в нём что-то отпускало, развязывался какой-то последний узел, и он говорил себе - не вслух, а глубже, - да. Это случилось. Это случилось со мной. Тогда в воздухе проступала дверь. Каждый раз своя: у кого-то калитка, у кого-то дверь подъезда, у кого-то просто светлый прямоугольник, похожий на окно в тёмной комнате. Человек вставал и шёл. И Алексей больше никогда его не видел.

А если узел не развязывался - двери не было.

Алексей это называл про себя «Принятием». С большой буквы, как имя.

- Огава-сан, - сказал он. - Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Я здесь не для того, чтобы вас куда-то забрать. Я никого никуда не забираю. Я просто рядом. Чтобы вы были не один, пока…

- Пока что? - Огава повернул голову.

- Пока вы привыкаете.

- К чему?

Огава смотрел на него вежливо и выжидательно, и Алексей понял: тот знает. Знает и хочет, чтобы это сказал кто-то другой. Чтобы это были чужие слова, за которые он не отвечает.

- К тому, что вы умерли, - сказал Алексей. - В два часа сорок минут вы потеряли сознание за своим столом. В три семнадцать ваше сердце остановилось. Утром вас найдут. Скорее всего, кто-то из коллег.

Он говорил ровно и негромко. Он давно понял, что так лучше: не смягчать, не обходить, не говорить «ушли» и «покинули нас». Мёртвые сразу слышат, когда им врут. Это у них обостряется в первую очередь.

Огава слушал, слегка наклонив голову, потом кивнул, потом ещё раз кивнул. Потом сказал:

- Сато.

- Что?

- Меня найдёт Сато. Она всегда приходит первая, в семь пятнадцать. Новенькая. Ей двадцать четыре года. - Он вдруг улыбнулся, странно, одним углом рта. - Она очень испугается. Она боится даже пауков. На прошлой неделе в отделе был паук, и она залезла на стул. Я его выносил в бумажном стаканчике.

Он продолжал улыбаться. Улыбка была неправильная - она держалась на лице слишком долго, как вывеска на закрытом магазине.

- Я лягу лицом на клавиатуру, - сказал он. - Наверное, лицом. Да? Я ведь там так и сидел. Значит, она войдёт, увидит, что я сплю на клавиатуре, и подумает: опять Огава-сан ночевал в офисе. И скажет «доброе утро». А я не отвечу. И она подойдёт. И тронет за плечо. И…

Улыбка дрогнула.

- И отчёт не сдан, - сказал Огава совсем другим голосом. - Отчёт не сдан. Таблица. Там всего одна таблица оставалась.

- Огава-сан…

- Подождите. - Он вежливо поднял ладонь. - Подождите. Минуточку. Я сейчас.

Он закрыл и открыл глаза. Посмотрел на свою ладонь, сквозь которую падал дождь, сжал её, разжал. Ущипнул себя за запястье, сильно, так, что если бы у него была кожа, остался бы синяк.

- Это сон, - сказал он. - Это просто сон. Я заснул на работе, и мне снится. Мне такое уже снилось. Что я опоздал на поезд и бегу по путям. Это сон.

- Это не сон.

- Тогда кто вы?

Он повернулся к Алексею всем телом. Глаза его стали очень большими.

- Кто вы такой? Откуда вы знаете про два сорок? Вы сидели тут. Я помню, в окно было видно остановку. Я подходил к окну, а тут кто-то сидел, а я подумал: странно, автобусы ведь уже не ходят. Это были вы. Вы сидели тут и ждали. Вы ждали, пока я…

- Огава-сан, послушайте меня…

- Вы знали!

Огава вскочил. Папка выпала у него из рук и упала на асфальт без звука и не намокнув. Он смотрел на Алексея сверху вниз, и в лице его происходило что-то страшное и смешное одновременно: так лицо человека, который всю жизнь был вежлив, пытается вместить ужас и не знает, куда его поставить.

- Шинигами, - выдохнул он.

- Что?

- Вы шинигами. Бог смерти. Вы пришли за мной. - Он попятился. - Бабушка рассказывала. Они приходят и сидят у постели, и их видит только тот, кто умирает. А потом забирают. Вы пришли меня забрать!

- Я никого не забираю, - сказал Алексей, тоже поднимаясь, медленно, с открытыми ладонями. - Я вам объяснял. Я просто…

- Нет! - Огава замотал головой. - Нет, нет, нет. Простите. Простите, пожалуйста. Я не могу. Я не пойду. Извините за беспокойство!

И глубоко, по всем правилам, поклонился.

И побежал.

* * *

Если бы кто-нибудь в эту ночь, около четырёх утра, стоял на перекрёстке в районе Минато и смотрел на улицу, он увидел бы вот что. Молодой человек в тёмной куртке, с рюкзаком на одном плече, сорвался с места у автобусной остановки и бросился бежать по пустому тротуару - сломя голову, огибая столбы, перепрыгивая через ограждения, - и при этом кричал куда-то вперёд, в пустоту:

- Огава-сан! Стойте! Да стойте же вы!

Наблюдатель, наверное, решил бы, что молодой человек пьян. Или что у него сбежала собака.

Огава бежал так, как бегают люди, которые не бегали двадцать лет: локти в стороны, голова запрокинута, галстук летит за плечом. Медленно, очень медленно. Алексей догнал бы его за десять секунд.

Если бы не одно обстоятельство.

Огава, не сбавляя шага, пробежал прямо сквозь припаркованный фургон.

Алексей с разгону упёрся в фургон ладонями. Обежал его, чертыхаясь, по скользкому от дождя бордюру, - и увидел, как белая рубашка исчезает в стене круглосуточного магазина. Просто в стене, между банкоматом и плакатом с рекламой рисовых треугольников.

Алексей влетел в магазин, дверь тренькнула. Из-за кассы, не поднимая головы от телефона, сонный парень с крашеными волосами пропел автоматически:

- Ирассяимасэ-э!

Огава был в конце зала, между полками с лапшой. Он оглянулся, увидел Алексея и снова поклонился - коротко, на бегу, виновато.

- Простите! - крикнул он и ушёл в холодильник с напитками.

Не в дверцу холодильника. В сам холодильник. Насквозь.

Алексей метнулся вдоль полки, зацепил рюкзаком стойку с журналами, и стойка медленно, с достоинством, как падают старые деревья, рухнула на пол. Журналы разлетелись веером. Парень за кассой наконец поднял голову.

- Простите! - крикнул ему Алексей по-английски. Это было единственное, что он успел сказать. Он уже понял, что за холодильником склад, а за складом служебный выход, и бросился туда, мимо кассы, мимо ошарашенного кассира, который смотрел ему вслед с открытым ртом.

Завтра кассир будет долго и честно пытаться вспомнить, почему ночью упала стойка с журналами. И не вспомнит. Спишет на землетрясение.

* * *

Служебный выход вёл в переулок. Переулок - на другую улицу, пошире, где ещё светились вывески баров. Белая рубашка мелькнула у входа в многоэтажное здание, сплошь увешанное неоновыми табличками: караоке, караоке, бар, караоке, массаж, снова караоке.

Огава нырнул в стену на третьем этаже - не в окно, а прямо в стену. Алексей замер внизу. Как он туда попал? Алексей так и не понял, умеют ли мёртвые летать, или Огава просто от страха забыл, что не умеет.

Лифт ехал вечность. Коридор на третьем этаже был длинный, узкий и тёмный, с рядом одинаковых дверей. Из-за каждой рвалась музыка. Алексей прислушивался у дверей и наконец рванул ту, из-за которой, ему показалось, донёсся испуганный вскрик.

В крошечной комнате с диванами из красного кожзама сидели пятеро японцев в мятых офисных костюмах. Галстуки у них были повязаны на лбах. Один стоял с микрофоном посреди комнаты и с мокрыми глазами пел что-то бесконечно печальное, явно о несчастной любви. На низком столике стояло пиво, много пива. В углу, вжавшись в стену за телевизором, стоял Огава. Он смотрел на поющего с выражением глубокого потрясения.

- Это Кавасима, - прошептал он, когда Алексей ворвался. Шёпотом, хотя мог бы кричать во весь голос. - Это Кавасима из отдела продаж. Он мне всегда говорил, что не пьёт.

Пятеро уставились на Алексея.

Пауза длилась ровно секунду. Потом Кавасима из отдела продаж, не переставая петь, распахнул объятия, сунул Алексею второй микрофон и заорал что-то радостное. Остальные четверо заревели в поддержку и захлопали.- Я… - сказал Алексей. - Мне не…

Кавасима обнял его за шею и повис на нём всем весом, продолжая петь ему прямо в ухо. От него пахло пивом и одиночеством. Алексей попытался высвободиться. Кавасима держал крепко. Кто-то сунул Алексею стакан. Кто-то нацепил ему на лоб галстук.

Огава смотрел на эту картину из-за телевизора. Секунду, другую. И вдруг - Алексей увидел это, увидел ясно - на его лице мелькнуло что-то похожее на смех, короткое, почти человеческое.

А потом он вспомнил и исчез в стене за телевизором.

- Огава! - крикнул Алексей.

Пятеро японцев радостно подхватили:

- Огава! Огава! Огава-а!

Они не знали никакого Огаву. Им просто понравилось, как это звучит.

* * *

Он упустил его у станции метро.

Огава бежал к станции, не оглядываясь, прямо по разделительной полосе, и сквозь него с шипением проезжали первые утренние такси. Алексей бежал следом по тротуару, с чужим галстуком на лбу, - он забыл его снять и вспомнил, только когда увидел своё отражение в витрине. Вход в метро ещё был закрыт решёткой. Огава прошёл сквозь решётку и исчез внизу, в темноте.

Алексей схватился за прутья, дёрнул - бессмысленно. Он стоял, тяжело дыша, и смотрел в тёмный провал лестницы, откуда тянуло сырым подземным воздухом.

Потом сел прямо на ступеньку, на мокрый камень, и снял с головы галстук. Галстук был синий, в мелкую жёлтую уточку. Кто-то из тех пятерых купил его, наверное, специально для таких вечеров. Алексей подержал его в руках, потом аккуратно сложил и положил на ступеньку рядом: кто-нибудь найдёт.

Вот так: тысяча четыреста тринадцатый раз - и первый, когда от него сбежали.

Нет, не первый. Он вспомнил: была ещё старуха в Лиссабоне, которая весь первый час гонялась за ним с зонтиком. И был мальчишка в Детройте, который спрятался в собственной комнате под кроватью и сидел там, пока Алексей не уговорил его выйти, двенадцать часов подряд. Но тех он хотя бы видел. Знал, где они.

Огава был где-то в огромном городе, на тридцать восемь миллионов живых - и неизвестно на сколько мёртвых. Один, напуганный, в белой рубашке, с пустым нагрудным карманом. И время шло.

* * *

Мёртвые, как и живые, в первые часы чаще всего идут домой.

Алексей знал это по опыту. Домой. На работу. В место, которое любили: в бар, на стадион, к морю, на могилу жены. Человек - существо привычки, и смерть этого не отменяет, по крайней мере сразу. Ноги сами несут туда, куда носили тысячу раз.

Но адреса Огавы Алексей не знал.

Гул в груди, который вёл его сюда через полмира, замолчал в три семнадцать, как и всегда. После смерти он больше не чувствовал человека: на этом его работа радара кончалась. Дальше полагалось быть рядом. Дальше полагалось вести за руку. Никто, видимо, не предполагал, что за руку придётся ловить.

В восемь утра он вернулся к офису.

У входа стояла машина скорой помощи и полицейская машина. Без сирен, без мигалок, и от этого было ещё тоскливее. Сбоку, у стены, стояла молоденькая девушка в бежевом пиджаке.

Она плакала, закрыв лицо ладонями, а другая женщина, постарше, гладила её по спине. «Сато, - понял Алексей. - Та, что боится пауков».

Потом вынесли носилки. Тело было закрыто. Из-под простыни торчал один край белой рубашки.

Последним вышел полный мужчина в дорогом костюме, с телефоном у уха. Он что-то говорил быстро и раздражённо, и Алексей, не понимавший по-японски ни слова, всё равно понял: это начальник отдела, и он говорит про отчёт. Про то, кто теперь доделает таблицу. По интонации было слышно, как говорят про сломанный принтер.

Алексей дождался, пока тот сядет в машину, и отвернулся.

Он обошёл квартал, потом ещё один, потом поехал на такси по кругу, без адреса, просто глядя в окно, - на тысячи белых рубашек, которые в этот час заполняли улицы, шли из метро, стояли на перекрёстках. Белые рубашки, тёмные брюки, папки и портфели. Город, состоящий из Огав. Найти среди них одного - мёртвого - было всё равно что найти в море определённую каплю.

Он вернулся к станции. Он вернулся к караоке, где на ступеньке уже не было галстука с уточками. Он сидел на той самой скамейке у остановки, теперь полной живых людей, и они не обращали на него внимания, потому что в Токио не принято обращать внимание, и ждал.

И тетрадь лежала у него на коленях, открытая на странице « 1413». После имени Огавы Тэцуи не было пока ни одной пометки.

* * *

Огава доехал до дома на первом поезде.

Он стоял в вагоне, в самой середине, и в вагон входили люди. Входили и проходили сквозь него, а он вздрагивал, но уже не так сильно, как в первый раз. В первый раз сквозь него прошла школьница с наушниками, и он почувствовал… ничего, совсем ничего. Это оказалось хуже всего. Если бы было больно или холодно - это было бы хоть что-то.

Он вышел на своей станции в Сайтаме. Тридцать восемь минут от Токио, пятнадцать лет подряд, два раза в день, - но на этот раз он не стал выходить через турникет, а просто прошёл. Турникет даже не пискнул. Это было почти смешно. Пятнадцать лет он прикладывал карточку и ни разу не подумал, что можно и без неё.

Дом был тот же. Двенадцатиэтажка, серая, с одинаковыми балконами, на балконах сушилось бельё. На седьмом этаже, в третьем окне слева, горел свет на кухне.

Юми уже встала.

Он поднялся по лестнице, - лифт вызывать не стал, сам не зная почему, - и прошёл сквозь дверь, на которой висела табличка «Огава». Он сам выбирал эту табличку в магазине, двенадцать лет назад, когда они въехали. Юми хотела деревянную. Он настоял на металлической, потому что практичнее.

В прихожей стояли тапочки. Его тапочки, серые, стоптанные. Он машинально попытался скинуть ботинки и не смог: ноги были как будто не его, ботинки как будто нарисованные. Он прошёл так, в ботинках, впервые в жизни, и ему стало стыдно.

На кухне пахло мисо и жареной рыбой. Юми стояла у плиты в старом домашнем свитере, с волосами, собранными в узел на затылке. Она раскладывала рис по трём коробочкам для обеда: розовая - для Ханы, зелёная - её собственная, и чёрная, большая.

Его.

- Юми, - сказал Огава.

Она не обернулась. Она закрыла чёрную коробочку крышкой и вздохнула - тем самым вздохом, который он слышал сотни раз. Вздохом, означавшим: опять ночевал на работе. Опять не позвонил.

- Юми, я здесь. Я пришёл.

Она поставила коробочку на стол. Взяла телефон, посмотрела на экран, положила обратно. Ни одного сообщения от него. Конечно. Он всегда забывал писать.

- Юми!

Он закричал. Он никогда в жизни не кричал на неё. Ни разу за девятнадцать лет. Он закричал во весь голос, во всю грудь, которой больше не было, - и Юми потянулась к полке за солью.

С подоконника на него смотрела кошка.

Мочи, толстая, рыжая, с обломанным кончиком уха. Мочи, которую он когда-то не хотел заводить, потому что от кошек шерсть, а потом сам по вечерам кормил её с рук сушёной рыбой, когда никто не видел. Мочи смотрела прямо на него. Глаза у неё были огромные, чёрные. Шерсть на загривке медленно поднималась.

- Мочи, - сказал он. - Мочи, это я. Это же я.

Мочи прижала уши и зашипела.

- Мочи, ты чего? - Юми удивлённо обернулась к кошке. Посмотрела туда, куда смотрела кошка. Прямо на него. Сквозь него. На стену с календарём, где на четверге его рукой было написано: «квартал».

- Глупая, - сказала Юми. - Никого там нет.

* * *

Хана вышла из своей комнаты в семь двадцать, в школьной форме, с телефоном в руке и наушником в одном ухе. Ей было шестнадцать. Он видел её каждый день и всё равно каждый раз удивлялся, какая она стала взрослая. Когда это случилось? Он не заметил. Он был на работе.

- Папа опять там ночевал? - спросила Хана, не поднимая глаз от телефона.

- Опять, - сказала Юми.

Хана пожала плечами. Это пожатие плечами было страшнее крика. Оно означало: ну и ладно. Оно означало: я привыкла.

Огава стоял посреди кухни, в ботинках, и смотрел на дочь.

- Хана, - сказал он. - Хана, прости меня. Слышишь? Прости меня. Я должен был… Я обещал, что приду на твой школьный фестиваль. Я не пришёл. Я сказал, что был на совещании. Я не был на совещании. Я просто не успел доделать отчёт и подумал: ну, она уже большая. Она не обидится. Хана, ты слышишь?

Хана села за стол и начала есть рис, листая что-то в телефоне.

Он подошёл к ней. Протянул руку. Хотел положить на плечо, просто положить, как в детстве, когда она болела, и он сидел рядом, и клал руку ей на плечо, и она засыпала.

Рука прошла насквозь, и Хана поёжилась.

- Мам, закрой окно, - сказала она. - Дует.

- Оно закрыто, - сказала Юми.

Хана поёжилась ещё раз, накинула на плечи кофту, которая висела на спинке стула, и снова уткнулась в телефон.Огава стоял и смотрел на свою руку. Ладонь его была внутри плеча дочери, внутри кофты, внутри её тепла, которого он не чувствовал. Он медленно вынул руку.

* * *

Телефон зазвонил в восемь сорок две.

Хана уже ушла в школу. Юми мыла посуду. Звонил её мобильный, на экране высветилось название его компании. Юми вытерла руки о полотенце, взяла трубку и сказала «алло» тем раздражённо-терпеливым голосом, которым всегда говорила с его работой. Наверное, она думала, что это он. Что он звонит наконец сказать, что задержится и сегодня.Огава видел, как меняется её лицо.

Он видел это потом всю оставшуюся ему вечность - сколько бы её ни оставалось. Видел, как сначала поднялись брови. Как потом они медленно опустились. Как приоткрылся рот. Как

рука, свободная от телефона, нащупала край стола и вцепилась в него - так, что побелели костяшки.

Она не закричала. Она сказала «да». Потом «да». Потом «я поняла». Потом «спасибо» - тихо, вежливо. Она всю жизнь была вежливой, как и он. Они были очень вежливой семьёй.

Потом она положила трубку на стол, аккуратно, экраном вниз. Потом посмотрела на чёрную коробочку для обеда - и вот тогда закричала.

* * *

Он не помнил, сколько это продолжалось. Час? Три? Он стоял рядом и говорил. Он говорил ей всё, что не сказал за девятнадцать лет: что любит, что виноват, что надо было сходить к врачу, что ортопедический стул тут ни при чём. Что сушёную рыбу Мочи давал он, а не Хана. Что металлическая табличка была ошибкой. Что деревянная была бы лучше. Он говорил, говорил, говорил. Юми сидела на полу кухни, прислонившись спиной к холодильнику, прижимая к груди чёрную коробочку, и раскачивалась взад-вперёд. Она не слышала ни слова.

Он опустился рядом на колени. Он пытался её обнять - и руки проходили сквозь неё. Снова и снова.

Мочи сидела в дверях кухни и смотрела на него, прижав уши.

И вот где-то здесь, на третий час или на четвёртый, внутри него что-то переменилось: он вспомнил.

Скамейку, стеклянную дверь, ладонь на стекле - молодой человек положил ладонь на стекло, и стекло было для него твёрдым. Скамейка, на которой тот сидел, - твёрдая. Тетрадь - он держал тетрадь, он писал в ней ручкой, ручка оставляла след на бумаге. Стойка с журналами в магазине - Огава слышал, как она грохнулась. Пятеро пьяных в караоке - они его видели, обнимали, совали ему микрофон.

Он мог, тот мальчишка мог: касаться, говорить, быть.

Значит - можно.

Значит, есть способ. И этот… этот шинигами, или кто он там, знает этот способ. Знает - и не сказал. Сидел на скамейке с тетрадочкой, и говорил своим спокойным голосом «что вы сейчас чувствуете, Огава-сан», и знал. Сидел и ждал, пока он умрёт. Ни во что не вмешался. Не вызвал скорую. Не постучал в окно. А теперь…

Обида поднялась в Огаве - тяжёлая, тёмная, совсем незнакомая. Он за всю жизнь, кажется, ни на кого не обижался по-настоящему. Обижаться было невежливо. Обижаться было непрактично. Он глотал обиды, как глотают холодный чай на совещании: быстро, не морщась.

А сейчас глотать было нечем.

Лампа над кухонным столом мигнула.

Юми не заметила. Мочи заметила. Мочи вскочила, выгнула спину дугой и издала звук, какого Огава никогда не слышал от неё за двенадцать лет: низкий, утробный, почти человеческий вой.

Лампа мигнула ещё раз. В шкафчике над раковиной что-то тонко звякнуло. Это треснул стакан - его стакан, высокий, с логотипом компании, подарок на десятилетие работы.

Огава смотрел на трещину.

Он не понимал, что это сделал он.

Он понимал только одно: он сейчас найдёт этого мальчишку. И тот ему всё расскажет. Как говорить. Как касаться. Как сделать так, чтобы Юми услышала. Хотя бы одно слово, одно.

Он встал. И вдруг почувствовал - далеко, на юге, за рекой, за десятками километров - низкое, ровное гудение. Как будто где-то стоял огромный трансформатор. Это гудение было единственным звуком во всём огромном мире, который отзывался ему. Единственным, который был настоящим. Огава пошёл на звук.

* * *

Солнце уже садилось, когда Алексей почувствовал холод на шее.

Он сидел на той самой скамейке. За день он возвращался к ней четыре раза, и каждый раз было всё больнее признавать, что он больше ничего не может придумать. Рядом стояли люди и ждали автобус. Автобус подошёл и ушёл, люди уехали, скамейка опустела.

И тогда - холод. Сзади, на шее, под воротником куртки.

Это были пальцы.

Огава держал его за воротник. Мёртвые могли касаться его - только его, во всём мире. И прикосновение их всегда было холодным, но так холодно не было ещё никогда.

- Ты, - сказал Огава.

Алексей медленно обернулся.

Огава стоял за скамейкой. Та же белая рубашка, тот же галстук, сбитый набок. Но лицо было другим. Вежливость стекла с него, как вода со стекла, и под ней оказалось что-то голое, серое, с запавшими глазами. Вокруг них - фонарь над остановкой, реклама на стене дома напротив, светофор на перекрёстке - всё мигало, неровно, рвано.Алексей увидел это мигание. И у него внутри всё сжалось.

«Слишком быстро, - подумал он. - Слишком рано. Меньше суток».

- Огава-сан, - сказал он. - Где вы были? Я вас…

- Ты мне скажешь, - перебил Огава. Он говорил тихо, но от его голоса в стекле остановки поползла тонкая, как волос, трещина. - Ты мне сейчас всё скажешь. Как ты это делаешь.

- Что делаю?

- Не притворяйся! - Огава рванул его за воротник, и Алексей чуть не свалился со скамейки. - Ты трогаешь вещи. Ты сидишь. Ты пишешь. Тебя видят. С тобой говорят. Тебе дали микрофон! Тебе - дали - микрофон!

Это прозвучало бы смешно. В любой другой день это было бы ужасно смешно. Но Огава плакал. Мёртвые не плачут - у них нет слёз. Огава плакал без слёз, одним лицом, и это было хуже любых слёз.

- Она не слышит меня, - сказал он. - Юми. Я кричал. Я никогда на неё не кричал, а тут кричал, а она не слышит. И Хана… Я положил ей руку на плечо, а она сказала, что дует. Дует! Я для неё сквозняк! Я двадцать лет… Я ради них… Каждый день, два раза, тридцать восемь минут… А теперь я сквозняк!

Светофор на перекрёстке погас совсем. Где-то завизжали тормоза.

- Научи меня, - сказал Огава. - Пожалуйста. Я прошу тебя. Я тебя умоляю. Научи, как ты это делаешь. Мне хватит одного раза. Одной минуты. Я просто скажу ей. Я только скажу ей, что…

Он не договорил.

Алексей смотрел на него снизу вверх. На это серое, перекошенное лицо, которое вчера ночью виновато улыбалось ему из-за стеклянной двери. На галстук, сбитый набок. На пустой нагрудный карман.

Он видел такое раньше. Не часто. Но видел. И знал, чем это кончается, если ничего не сделать сейчас. Если ничего не сделать в ближайший час.

Можно было сказать правду. Что научить нельзя. Что он, Алексей, не такой, как Огава, но и не такой, как Юми, и не такой, как пятеро пьяных в караоке. Что он сам не знает, кто он. Что его самого не слышат - по-другому, но тоже. Что его тоже, в каком-то смысле, принимают за сквозняк.

Но Огава бы не услышал. Не сейчас. Сейчас он слышал только своё.

Алексей медленно поднял руку и положил ладонь поверх холодных пальцев на своём воротнике. Не отцепляя. Просто положил.

- Огава-сан, - сказал он. - Сядьте.

- Я не буду садиться!

- Сядьте. Пожалуйста. Я вам расскажу, как это бывает. Как это - когда тебя не слышат. Я знаю. Лучше, чем вы думаете.Пальцы на воротнике дрогнули.

- Откуда тебе знать? - сказал он. - Ты же живой.

Алексей покачал головой.

- Нет, - сказал он. - Я не живой. Я умер четыре года назад. Мне было двадцать три. - Он помолчал. - Хотите, расскажу как?

Фонарь над остановкой мигнул в последний раз - и загорелся ровно.

Глава 3. Окна

Огава сел. Не сразу: сначала он постоял, глядя на Алексея сверху вниз. Потом пальцы его разжались, оставили воротник, и он опустился на скамейку - не на краешек, как ночью, а тяжело, всем своим несуществующим весом.Фонарь над ними горел ровно. Светофор на перекрёстке включился снова, мигнул жёлтым и, подумав, перешёл на красный.

- Четыре года, - сказал Огава. - Ты сказал: четыре года.

- Да.

- И всё это время ты… - Он обвёл рукой улицу, остановку, город. - Так?

- Так.

- Как это случилось?

Алексей не ответил сразу. Он достал тетрадь - привычным жестом, как другие достают сигареты, когда нервничают, - подержал её на коленях и не открыл. Он рассказывал впервые.

За четыре года он выслушал тысячу четыреста тринадцать историй. Больных, глупых, страшных, смешных. Историй о том, как люди умирали в больницах и в ваннах, в самолётах и в постелях любовниц, на войне и в очереди к кассе. Он знал о смерти больше, чем любой врач и любой священник на земле.

И ни разу за всё это время никто не спросил его самого.

Мёртвым было не до того. Они были заняты собой, и правильно, так и должно быть. А живые забывали его раньше, чем успевали спросить.

- Я из Подольска, - сказал Алексей. - Это под Москвой. Вы вряд ли знаете.

- Не знаю, - честно сказал Огава.

- Никто не знает. Это такой… как ваша Сайтама. Отовсюду близко, а сам по себе никуда.

Огава вдруг коротко кивнул - понял.

- Ну вот, - сказал Алексей. - Там я и жил. Всю жизнь.

Дальше не шло. Он слышал больше тысячи таких начал - с детства, с первой любви, с «я вообще-то не такой», - а своё найти не мог. Он открыл рот и закрыл.

Огава выпрямился и положил ладони на колени.

- Давай по-другому, - сказал он. - Я спрашиваю. Ты отвечаешь. Коротко.

- Как на допросе?

- На допросе спрашивают, что ты сделал. Я спрашиваю, сколько ты проживёшь. - Угол его рта дёрнулся. - Страхование жизни. Двадцать лет. Сорок вопросов в анкете. Люди заполняют её за пятнадцать минут и думают, что это формальность.

- А это не формальность?

- Это вся жизнь. На одной странице.

Голос у него стал другим - ровным, сухим, без той дрожи, которая была в нём весь этот день. Алексей не стал спорить. Каждому нужно за что-то держаться, а Огава двадцать лет держался за анкету.

- Возраст.

- Двадцать три. - Алексей подумал. - Было.

- Место жительства - Подольск. Семья.

- Мама, папа. Я один.

- Мать. Род занятий.

* * *

Мама у него была психологом.

Не таким, как в кино, с кушеткой и очками. Обычным, школьным, а потом в районном центре помощи семьям. К ней приходили мамы, которые не справлялись с детьми, дети, которые не справлялись с мамами, и мужья, которых приводили жёны. Она приходила домой вече-

ром, ставила сумку в прихожей и сидела на кухне без света. Алексей лет до десяти думал, что так делают все взрослые. Потом понял, что так делает только мама, после особенно тяжёлых дней.

- Она вечно меня подталкивала, - сказал Алексей. Он улыбнулся, впервые за весь разговор. - Знаете, так, ненавязчиво. «Лёш, а ты заметил, как ты с Витькой поговорил? Он же сразу успокоился. У тебя талант». «Лёш, а вот тебе бы пошло». А я ей: мам, никогда. Слышишь? Никогда в жизни. Я не хочу, как ты, сидеть потом на кухне без света. Я буду… ну не знаю. Кем-нибудь весёлым.

Он покачал головой.

- «Никогда в жизни», - повторил он. - Ну, в жизни-то я и правда не стал.

И тут Огава хмыкнул. Коротко, в нос, почти против воли. Алексей не поверил своим ушам.

- Это смешно, - сказал Огава растерянно. - Простите. Это не смешно. Но это смешно.

- Смешно, - согласился Алексей. - Я тоже первые полгода не мог понять, смеяться мне или выть.

Огава кашлянул и снова выпрямился.

- Отец.

- Полицейский.

Следователь. Майор Николай Кожевников, Подольский отдел, двадцать шесть лет стажа. Человек, который всю жизнь разбирал чужие беды по косточкам, а дома не умел сказать ни одного ласкового слова. Он говорил «ну» вместо «я тебя люблю» и «нормально» вместо «я тобой горжусь». Когда Алексей в шестом классе сломал руку на гаражах, отец вёз его в травмпункт, всю дорогу молчал, только на светофорах клал ладонь ему на затылок, тяжёлую, тёплую, пахнущую табаком, и держал, пока не загорался зелёный.

- Он хотел, чтобы я пошёл в полицию, - сказал Алексей. - Или хотя бы в армию. «Отслужишь, говорит, человеком станешь». А я…

Он снова улыбнулся, но уже по-другому - смущённо, как улыбаются, вспоминая глупость, которую до сих пор немного жалко.

- А я от армии косил. Изо всех сил. Как партизан. Повестки приходили - меня нет дома. Меня никогда нет дома. Я у друзей живу, я на даче, я уехал, я в Сочи, я умер. - Он поморщился. - Ну, последнее, допустим, тогда ещё было неправдой. Мама нашла мне какого-то врача, который нашёл у меня плоскостопие. Отец неделю со мной не разговаривал. Потом сказал «ну» - и всё. Простил, значит.

- Хронические заболевания, - сказал Огава. - Плоскостопие.

- Купленное.

- Так и запишем.

Ни ручки, ни бумаги у него не было. Алексей понял, что Огава ничего не записывает, а просто запоминает, всё подряд, как привык.

- Семейное положение.

- Холост.

- Девушка?

Алексей провёл пальцем по обложке тетради.

- Следующий вопрос.

Огава задержал на нём взгляд и кивнул. Он пошёл дальше, но Алексей видел, что этот вопрос он отложил, а не бросил.

* * *

- Образование.

- Школа.

- Дальше?

- Не пошёл.

- Почему?

Алексей пожал плечами.

- Не знал, кем быть. Все вокруг знали - или делали вид, что знают. Витька пошёл на программиста, Кирилл - в колледж на автомеханика. А я смотрел на эти списки специальностей, как на меню в ресторане, где ничего не хочется. Думал: потом нащупаю. Поработаю тут, поработаю там. Время же есть. Двадцать лет - какое там время, у меня впереди целая жизнь.

Мимо проехал автобус. Остановился, открыл двери, постоял, закрыл двери и уехал. Никто не вышел, никто не вошёл.

- Род занятий, - сказал Огава. - Последнее место работы.

- Последнее потом. Можно все?

- Можно все.

- Курьером. Грузчиком на складе. Три месяца стоял за стойкой в кофейне - научился рисовать сердечко на капучино, а тюльпан так и не научился. Промоутером у торгового центра - в костюме хот-дога. Да, правда. В костюме хот-дога. Огромном. С горчицей на голове. Меня однажды в этом костюме увидела учительница по литературе, Раиса Павловна, и сказала: «Кожевников, я всегда знала, что ты кончишь сосиской».

Огава издал странный звук и закрыл рот ладонью. Плечи его тряслись.

Алексей смотрел на него и вдруг сам засмеялся, тихо, впервые с тех пор, как умер, вслух и рядом с кем-то, кто его помнит.

Фонарь над остановкой не мигнул. Даже наоборот, Алексею показалось, что он стал гореть чуть ярче.

* * *

- А последнее? - спросил Огава, когда они оба отсмеялись.

- Окна.

- Окна?

- Пластиковые окна. Знаете, белые такие, со стеклопакетом. «Тёплые окна Подмосковья», компания так называлась. Сначала обзванивал по телефону: «Здравствуйте, вас беспокоят Тёплые окна Подмосковья, не хотите ли вы…» - и на тебя орут. Сорок раз в день орут. Потом меня перевели на замеры. Ездил по адресам с рулеткой, мерил проёмы, рассказывал людям про профиль, про энергосбережение, про то, что зимой у них больше не будет дуть.

- Тебе нравилось, - сказал Огава. Это был не вопрос.

- Нравилось, - сказал Алексей, и в голосе его прозвучало удивление. - Правда нравилось. Не окна, а люди. Приезжаешь к кому-нибудь, и пока меряешь, они рассказывают. Бабушка про внука в Канаде. Мужик про развод. Молодая пара - про ребёнка, которого ждут, и что им надо, чтобы в детской не дуло. Я стою с рулеткой на подоконнике и слушаю. И иногда, ну… говорю что-нибудь. Ничего умного. Просто - что-нибудь. И им становится легче. Я видел, что им легче.

- Как твоя мама, - сказал Огава.

Алексей поднял голову.

- Да, - сказал он. - Как мама. Я тогда этого не замечал.

Огава кивнул и вернулся к анкете.

- Вредные привычки. Курение.

- Нет.

- Алкоголь.

- Редко. По праздникам. Меня быстро брало.

- Опасные увлечения.

- Костюм хот-дога считается?

Огава не улыбнулся. Это был последний лёгкий вопрос, и оба это понимали.

- А вы? - спросил Алексей. - Вы-то свою анкету как заполняли?

Огава моргнул.

- Не курю. Пиво по пятницам, одно, с отделом. Давление в норме. - Он опустил глаза на свои руки. - Спина болела. Месяц. Я думал, спина.

Алексей ничего не сказал. Он знал, что это была не спина, и Огава теперь тоже это знал.

- Обстоятельства смерти, - сказал Огава. Голос у него снова стал ровным.

* * *

- Дата.

- Ноябрь.

- Это не дата.

- Ноябрь, - повторил Алексей.

Огава подождал и настаивать не стал.

- Место.

- Пахра. Река такая, под Подольском.

- Последний, кто тебя видел.

- Клиент. Я с замера возвращался, последний за день был. Частный дом за городом, посёлок у реки. Хозяин приятный, разговорчивый. Чаем напоил, расспрашивал про работу, про жизнь. Я лица его не помню. Помню чай. Очень сладкий.

- Дальше.

- Дальше ничего.

- «Ничего» - это не ответ.

- Это всё, что есть.

Последний час, может, два - как будто их вырезали ножницами из плёнки. Был чай на кухне с клеёнкой в синий цветочек, и потом сразу ничего.

- Нашли меня через три дня, - сказал Алексей ровным голосом, каким зачитывают чужой протокол. - В реке, ниже по течению, у старого моста. Алкоголь в крови, много. Заключение - несчастный случай. Выпил, пошёл к реке, оступился в темноте, упал, утонул. Ноябрь, вода ледяная. Каждый год бывает.

- Ты выпил?

Алексей провёл пальцем по обложке тетради.

- Наверное, - сказал он наконец. - Скорее всего, да. Я ведь тогда весь был на нервах. Из-за одной… ну, из-за субботы. Ходил как пьяный и без всякого вина. Наверное, зашёл куда-нибудь для храбрости. Был там у станции один бар, «Якорь». Одну выпил, потом вторую. Я пил редко, меня быстро брало. А потом, наверное, решил пройтись, проветриться. К реке. Там красиво ночью, огни на воде.

Он пожал плечами.

- Глупо, но похоже на меня.

- Три раза, - сказал Огава.

- Что?

- Ты три раза сказал «наверное».

- И что?

- Я каждый день читаю, как люди рассказывают о чужой смерти. Вдовы, сыновья, соседи. Кто был рядом, говорит: «он выпил». Кого не было, говорит: «наверное, выпил». - Огава повернулся к нему всем корпусом. - Ты говоришь, как человек, которого там не было.

- Так меня и не было. - Алексей постучал пальцем по виску. - Вот тут. Молодой парень, ноябрь, алкоголь, вода. Вы же страховщик. Сколько вы таких читали?

- Много.

- Ну вот. Самая скучная строчка в статистике.

- Самая скучная, - согласился Огава. - Мы такие оплачиваем быстро. Без вопросов.

Больше он ничего не добавил.

- Это не моё дело, - сказал Алексей. - Понимаете? Я много об этом думал первый год. Потом перестал. Нельзя так всё время. Человек умер - и всё. Неважно, как.

- А твой отец? - спросил Огава. - Он следователь. Он тоже думает, что неважно?

Алексей отвернулся.

- Отец тоже не поверил, - сказал он тише. - Мне потом… ну, когда я к ним приходил. В третий раз. Я ночью встал воды попить, а у него в комнате свет. Он сидел за столом. Перед ним - папка. Толстая. Я видел только обложку, но я знаю, как у них подшиваются дела. Он сидел над ней и курил, хотя бросил ещё десять лет назад. А на следующее утро, когда он меня снова увидел и снова уронил газету, я даже не успел спросить.

Он похлопал по тетради.

- Моё дело - вот. Вы. Остальные. А что там было на Пахре… Я же всё равно уже здесь.

Огава ничего не ответил. Он знал и это: отцы никогда не верят. Ни один отец в мире не верит, что его сын просто напился и упал в реку. В страховой компании таких отцов называли «тяжёлыми клиентами» и старались передавать младшим сотрудникам. Огава сам когда-то был младшим сотрудником. Он помнил, что тяжёлые клиенты оказывались правы чаще, чем хотелось бы компании, но говорить этого не стал.

* * *

- Суббота, - сказал Огава.

Алексей поднял голову.

- Ты сказал: на нервах из-за субботы. Для храбрости. - Огава говорил всё тем же рабочим голосом, но тише. - Семейное положение - холост. Девушка - следующий вопрос. Я к нему вернулся.

Алексею не хотелось говорить дальше - так не хочется заходить в холодную воду.

Он всё-таки зашёл.

- Её звали Даша, - сказал он.

Огава ничего не спросил. Он только повернулся чуть больше, чтобы лучше видеть лицо Алексея.

- Даша Морозова. Мы с ней в одном дворе выросли. С песочницы. Она жила в соседнем подъезде, на третьем. Мы вместе ходили в садик, в школу, в один класс все одиннадцать лет. Она за меня контрольные решала по алгебре, я за неё - дрался. Ну, как дрался. Один раз подрался, с Пашкой Груздевым, он у неё портфель в лужу кинул. Он мне нос разбил, а я ему ничего. Но портфель я достал.

Он снова улыбнулся, но улыбка не держалась.

- Мне она всегда нравилась. Всегда. Лет с двенадцати - уже точно. И ей… мне кажется, ей тоже. Я так думаю. Я так думал. Но знаете, как бывает: ты дружишь с человеком десять лет, и тебе страшно. Скажешь - и вдруг всё. Вдруг она скажет «ты что, Лёш, ты мне как брат». И тогда ни любви, ни дружбы. Так что мы дружили. Тянули. Год за годом - реже, чем раньше, неловко как-то, после восьмого класса особенно. Она мне про своих парней рассказывала, я ей - про своих девушек, которых почти не было. А потом она поступила в Москву, в институт, и уехала. И мы как-то… растерялись. Переписывались сначала. Потом реже. Потом - с днём рождения и с Новым годом.

Он открыл тетрадь. Не на последней странице, на первой. Там, на внутренней стороне обложки, было что-то написано мелко, карандашом. Огава не видел, что именно.

- А за две недели до… - сказал Алексей. - Я её встретил. Случайно. На платформе, в Подольске, в электричке. Она к родителям приезжала. Я с замера возвращался, с рулеткой в кармане. Стоим на платформе, электричка опаздывает, на табло - «задерживается на двадцать минут». И она говорит: «Лёш? Кожевников? Ты?» И я говорю: «Морозова».

Он закрыл тетрадь.

- Мы двадцать минут проговорили на этой платформе. А потом ещё час в электричке, пока она ехала до Москвы, а я поехал с ней, хотя мне надо было в другую сторону. Она смеялась. Я ей про костюм хот-дога рассказал. Она так смеялась, что на нас весь вагон оборачивался. А на Царицыно, перед тем как выйти, она сказала… - он замолчал на секунду. - Она сказала: «Слушай, давай в субботу встретимся. Нормально. Не как одноклассники». И посмотрела на меня. И я понял. Наконец-то, через десять лет, понял.

- Суббота, - тихо сказал Огава.

- Суббота. Через две недели. У неё были зачёты, раньше не могла. Мы договорились: в два, у памятника Пушкину. Как в кино, да? Глупо. Это я придумал, мне хотелось, чтобы было как в кино. - Он усмехнулся. - Я две недели репетировал, что ей скажу. В электричке, на замерах, перед зеркалом в ванной. «Даш, я давно хотел…», «Даш, ты не подумай…». Ни одна фраза не годилась.

- И ты не пришёл.

- Я умер в четверг.

Огава вздрогнул.

- В четверг? - повторил он.

- Да, - сказал Алексей. - Мы с вами оба по четвергам. Я тоже это заметил.

Только теперь Огава понял, почему Алексей так и не назвал дату.

* * *

- А родители? - спросил Огава, когда молчание стало слишком тяжёлым. - Ты сказал - когда приходил. Они тебя видели?

Алексей кивнул и рассказал. Про дверь с латунным номером «43», у которого вечно отваливалась тройка. Про звук, который издала мама, - не крик и не плач. Про отцовскую газету, которая мелко-мелко тряслась. Про синяки на плече, которые остались, когда память ушла. Про утро на кухне.

Про то, как всё повторилось трижды.

Про четвёртый раз, у ларька, где раньше продавали шаурму. Про синий халат.

Огава слушал, и лицо его медленно менялось. Рабочая сухость сходила с него, и под ней оказалось что-то другое: горе, не за себя.

- Каждый день сначала, - сказал он. - Каждый день - как будто в первый раз.

- Да.

- И ты перестал приходить. Чтобы им не было больно.

- Да.

- А они там… - Огава подумал. - Они ведь всё равно горюют. Каждый день. Они помнят, что ты умер. Они просто не помнят, что ты приходил.

- Да, - сказал Алексей. - Они горюют обычно. Как все. А когда я прихожу - горюют два раза. Я им больше ничего не могу дать. Только второй раз.

Потом Огава спросил - тихо, совсем не так, как час назад. Этого вопроса в его анкете не было.

- Тебя кто-нибудь встретил? Тогда. Как ты меня.

Алексей поднял на него глаза. И Огава понял, что попал в место, куда попадать нельзя, - и что ответа не будет.- Это потом, - сказал Алексей. - Это другая история.

Огава кивнул. На этот раз он не настаивал. Он был вежливым человеком - даже теперь.

* * *

Стемнело окончательно. Токио зажигался вокруг них - миллион окон, и за каждым кто-то ужинал, ссорился, укладывал детей, смотрел телевизор, сидел на кухне без света.

- Знаешь, - сказал Огава, глядя на эти окна. - Я ведь сегодня, когда был дома, кричал Юми, что люблю её. Кричал во весь голос. А до этого не говорил. Года три. Может, пять. Не помню, когда последний раз. Думал - она знает. Зачем говорить, она же знает.

- Она мне утром обед собрала. В коробочку. В мою, чёрную. Думала, я опять ночевал на работе и даже не позвонил. Злилась, я видел. Вздыхала. И всё равно собрала. - Он посмотрел на свои руки. - А потом, когда ей позвонили… она её так и держала. Всё время. Прижимала к себе, как ребёнка.

- Она знает, - сказал Алексей.

- Откуда ты можешь…

- Вы сами только что сказали. Она злилась - и всё равно собрала. Так делают только те, кто знает.

Огава закрыл глаза и сидел так, а Алексей сидел рядом и ждал. И впервые за этот бесконечный день он почувствовал - едва-едва, на самом краю, как чувствуешь запах дождя за час до дождя, - что воздух вокруг скамейки начинает меняться. Становится плотнее. Как будто где-то совсем рядом, в двух шагах, кто-то готовится открыть дверь.

Ещё не сейчас. Но уже скоро.

- Алексей, - сказал Огава, не открывая глаз. Он впервые назвал его по имени. Алексей даже не помнил, когда успел его назвать. - Можно я попрошу?

- Просите.

- Я хочу съездить домой. Ещё один раз. - Он открыл глаза. - Не кричать. Не трогать. Я уже понял, что они не услышат. Я просто… Я хочу посмотреть на них. Как они спят. Один раз, спокойно. А потом - делай со мной, что там положено.

- Я ничего с вами не делаю, - сказал Алексей. - Я вам говорил.

- Да. - Огава вдруг улыбнулся. Это была его прежняя улыбка, виноватая и вежливая, как ночью за стеклянной дверью.

Только теперь она держалась на лице ровно столько, сколько надо. - Ты говорил. Извини. Я тогда подумал, что ты шинигами.

- Я знаю.

- Ты не похож на шинигами. Шинигами бы не стал петь в караоке.

- Я не пел.

- Ты держал микрофон. Это почти то же самое.

Алексей встал и закинул рюкзак на плечо.

- Последний поезд в Сайтаму через сорок минут, - сказал Огава, тоже вставая. - Я знаю расписание. Пятнадцать лет.

- Поехали, - сказал Алексей.

И они пошли к станции рядом - молодой человек с рюкзаком и мужчина в белой рубашке, сквозь которого проходил вечерний свет витрин. Прохожие обходили Алексея, не глядя. Огаву никто не обходил: сквозь него просто шли.

А в тетради, в кармане куртки, под строчкой « 1413. Токио. Чт, 3:17. Огава Тэцуя» всё ещё не было ни одной пометки. Алексей пока не знал, что написать. Он думал - может быть, «смеялся». А может быть - «слушал». Он ещё никогда не писал этого слова.

Глава 4. Хороший день

Огава вошёл в квартиру без ботинок.Алексей это заметил. Он остался на лестничной площадке седьмого этажа, у металлической таблички «Огава», и видел, как тот остановился перед дверью и посмотрел себе на ноги. И ботинки исчезли - просто перестали быть, как перестаёт быть мысль, которую отпустил. Огава прошёл сквозь дверь в носках.

Алексей сел на ступеньку и стал ждать.

Внутри было тихо. Он не слышал, что там происходит, и не пытался услышать. Это было не его. Он только видел в щель под дверью полоску темноты - в квартире не горел свет. Один раз оттуда, из темноты, коротко мяукнула кошка. Не зашипела, а мяукнула - спросонья, вопросительно, как мяукают кошки, когда хозяин поздно приходит домой.

Огава вышел через двадцать минут.

Он остановился на площадке, лицом к стене. По его лицу ползла слеза - одна. Алексей не знал, откуда она взялась: у мёртвых не бывает слёз. Но она была, и Огава её не вытирал. Она доползла до подбородка и исчезла, не упав.

Алексей видел такое всего несколько раз. И каждый раз - у тех, кто уже стоял почти у самой двери. Когда в человеке развязывался последний узел, мир, который он покидал, на прощание чуть-чуть его отпускал: слеза, которой не должно быть, тепло, кошка, которая вдруг не проходит насквозь.

- Хана спит в наушниках, - сказал Огава наконец. - Всегда так спит. Я ей говорил, что это вредно для ушей. А Юми спит на моей стороне кровати. Обняла мою подушку. Раньше она никогда не спала на моей стороне.

Алексей ничего не сказал.

- Я их обнял, - сказал Огава. - Обеих. По очереди. Руки, конечно… ну, ты знаешь. Насквозь. Но я подержал их так. Долго. Хана во сне натянула одеяло, а потом улыбнулась. Может, ей что-то снилось. А может… - Он не договорил. - А Мочи пришла и легла мне на ноги. Не прошла насквозь. Легла. Я не знаю, как это. Я сидел, и она лежала.

- Кошки, - сказал Алексей. - С ними всегда так.

Огава кивнул. Потом повернулся к двери с металлической табличкой, поклонился ей - низко, медленно, по-настоящему - и пошёл вниз по лестнице.

* * *

На улице было три часа ночи. Сайтама спала: одинаковые дома, одинаковые балконы, автомат с напитками на углу светился в темноте синим.

Огава вышел на середину пустой дороги и остановился.

- Я готов, - сказал он.

Он сказал это не Алексею. Он сказал это просто так, в воздух, ровным голосом, каким говорят «я закончил отчёт» или «я дома».

И воздух его услышал.

Алексей почувствовал это раньше, чем увидел: улица вдруг стала плотной, как вода. Звуки ушли - даже далёкий гул шоссе, который в Японии не умолкает никогда. А потом посреди дороги, прямо перед Огавой, появилась дверь.

Она просто стояла там, как будто стояла всегда, а они только сейчас заметили. Деревянная. Дубовая, светлая, с ровными прямыми волокнами. Без резьбы, без ручки с завитушками, без стекла - гладкое дерево, простая деревянная ручка, аккуратная рама. Всё точно по размеру. Ничего лишнего. Такую дверь мог бы заказать человек, который двадцать лет оценивал риски и знал, что практичнее.

Огава смотрел на неё и вдруг тихо засмеялся.

- Деревянная, - сказал он.

- Что?

- Юми хотела деревянную табличку. Двенадцать лет назад. А я сказал: металлическая практичнее. - Он покачал головой. - Деревянная. Надо же.

Он повернулся к Алексею, постоял и протянул руку по-западному, ладонью вперёд, немного неловко.

Алексей пожал её. Рука была холодная, как всегда у мёртвых. Но не такая холодная, как вчера на воротнике.

- Спасибо, - сказал Огава. - Алексей-сан.

- Вам спасибо.

- Мне - за что?

Алексей подумал.

- Вы первый, кто меня выслушал, - сказал он.

Огава кивнул. Ничего не сказал - он и правда был очень вежливым человеком, а вежливые люди знают, когда не нужно ничего говорить.

Он повернулся, взялся за простую деревянную ручку и открыл дверь. За ней не было ничего, что Алексей мог бы описать: не свет, не темнота, а что-то вроде утра, которое ещё не наступило. Огава шагнул туда. Дверь закрылась за ним - мягко, без стука, как закрывают дверь в комнату, где спят.

И её не стало.

Звуки вернулись. Где-то далеко загудело шоссе. Автомат на углу щёлкнул и загудел своим холодильником.

Алексей стоял один посреди пустой улицы.

Потом достал тетрадь, открыл её на нужной странице и под строчкой « 1 413. Токио. Чт, 3:17. Огава Тэцуя» написал: «Слушал». Подумал и дописал: «Деревянная дверь».

* * *

Он шёл по Сайтаме, куда глаза глядят, и рассвет догонял его со спины.

После каждого раза - после каждого номера в тетради - ему нужно было идти. Просто идти, не важно куда. Так, наверное, после долгой болезни ходят по комнате, держась за стены, проверяя, что ноги ещё есть. Он не умел иначе. Сидеть после этого он не мог.

Он думал об Огаве. О деревянной двери. О том, что каждая дверь - своя, и он видел их тысячу четыреста тринадцать, и ни одна не повторилась. У старухи из Лиссабона была синяя калитка в каменной стене. У мальчишки из Детройта - дверь школьного шкафчика, жёлтая, с наклейкой. Иногда Алексей думал: кто их делает, эти двери? Тот, кто уходит? Или кто-то, кто знает их лучше, чем они сами себя?

Он не знал. Он вообще очень многого не знал.

А ещё он думал - и это было новым, непривычным, - о том, что рассказал вчера. Впервые за четыре года. Про маму и про «никогда в жизни». Про отца и «ну». Про Дашу. Про платформу в Подольске и табло «задерживается на двадцать минут».

Он думал, что ему будет тяжело. А оказалось… он не знал, как оказалось. Просто внутри было тихо. Не пусто, а тихо.

Солнце вылезло из-за домов, и Сайтама сразу стала другой: обычной, будничной, с велосипедами у подъездов и школьниками в синей форме. Где-то пахло жареным рисом. Алексей понял, что голоден. Он не ел больше суток.

Он сунул руку в карман куртки за телефоном - посмотреть, где ближайшее кафе.

Телефона не было.

Он проверил другой карман. Потом карманы джинсов. Потом снял рюкзак, сел на бордюр и вытряхнул из него всё: тетрадь, связку паспортов, карту, зарядку, книгу, бутылку воды, упаковку бумажных салфеток, одну старую, давно сломанную рулетку - жёлтую, с логотипом «Тёплые окна Подмосковья», которую он почему-то так и не выбросил.

Телефона не было.

Он сидел на бордюре над своими вещами и вспоминал. Караоке? Погоня? Кавасима из отдела продаж, который висел у него на шее? Метро, решётка, ступенька, галстук с уточками? Телефон мог выпасть где угодно. Скорее всего, он остался в той крошечной комнате с красными диванами, и сейчас его кто-нибудь нашёл и не понял, чей он. Завтра этот кто-то будет вертеть его в руках, как та женщина в кафе вертела записку.

Алексей вдруг усмехнулся.

Телефон ему никто не звонил четыре года, ни разу. Ему некому было звонить. Он пользовался им как картой и как кошельком, иногда - как фонариком. И всё.

Но сейчас он сидел на бордюре посреди японского города, в котором не умел прочитать ни одной вывески. Вокруг были иероглифы. На столбах, на стенах, на автоматах, на крышках канализационных люков. Красивые, чёткие, совершенно непроницаемые.

Он поднял голову и посмотрел на ближайшую табличку с названием улицы. Табличка посмотрела на него.

- Ну, - сказал Алексей вслух. Точно как отец.

Он сложил вещи обратно в рюкзак, встал и пошёл.

* * *

Первой была старушка с метлой.

Она подметала дорожку у маленького храма, втиснутого между двумя многоэтажками: красные деревянные ворота, каменные фонари, два каменных лиса с повязанными на шее красными слюнявчиками. Старушка была крошечная, согнутая почти пополам, в платке, и метла у неё была больше её самой. Сухие листья она сгребала в кучку очень тщательно.

Алексей остановился у ворот.

- Excuse me, - сказал он. - Sorry. Station? Train?

Старушка распрямилась - насколько могла - и подняла на него глаза. Глаза у неё были маленькие, весёлые и очень внимательные.

Она что-то сказала по-японски - длинно, с вопросительной интонацией в конце.

- Station, - повторил Алексей и для верности изобразил руками поезд. Сначала просто подвигал локтями, как колёсами. Потом, подумав, добавил: - Чух-чух.

Глаза у старушки сощурились совсем, превратились в две щёлочки, и она засмеялась - тоненько, с присвистом, держась за метлу.

Она показала метлой направо. Потом налево. Потом снова направо и сказала что-то, где несколько раз повторилось одно и то же слово. Потом махнула рукой - мол, нет, бесполезно, - прислонила метлу к воротам и, не говоря больше ни слова, ушла в маленький домик за храмом.

Алексей постоял, не понимая, ждать ему или уходить. Он поднял метлу, которая начала съезжать по воротам, и, раз уж она была у него в руках, домёл дорожку до конца. Листья он сгрёб в ту же кучку, стараясь делать так же тщательно, как она.

Старушка вышла из домика с бумажным свёртком, увидела его с метлой и остановилась.

Что-то в её лице изменилось. Она подошла, взяла метлу, придирчиво оглядела дорожку - и кивнула. Один раз, коротко, как кивает мастер ученику. Потом сунула ему в руки свёрток. Внутри были два рисовых треугольника, завёрнутых в водоросли, ещё тёплые.

- Нет, что вы, я не… - Алексей полез за картой. Старушка шлёпнула его по руке. Не больно, но очень решительно.

Потом взяла его за рукав, вывела за ворота и показала пальцем вдоль улицы. Показала два пальца - два перекрёстка? Потом повернула ладонь направо. Потом изобразила локтями поезд. И сказала, очень довольная собой:

- Чух-чух.

Алексей рассмеялся. Он поклонился ей - неумело, слишком быстро. Старушка поклонилась в ответ, медленно и правильно, как будто показывая, как надо. Он поклонился ещё раз, уже медленнее.

Она одобрительно кивнула и вернулась к своей кучке листьев.

Он съел оба треугольника, пока шёл два перекрёстка. Внутри одного была солёная слива, такая кислая, что у него свело скулы. Внутри другого - рыба. Это была самая вкусная еда за… он попробовал вспомнить и не смог.

Завтра она его не вспомнит. Просто увидит утром идеально подметённую дорожку и, может быть, удивится, что сама не помнит, как домела. А может, и не удивится. Может, она так давно метёт эту дорожку, что ей всё равно, кто это сделал. Алексей думал об этом - и ему почему-то было не грустно.

* * *

На втором перекрёстке направо станции не оказалось.

Там оказалась школа, а у школы - трое мальчишек лет двенадцати, в форме, с ранцами, которые сидели на ограждении и что-то увлечённо разглядывали в одном телефоне на троих. Увидев иностранца, они замолчали и уставились на него с таким восторгом, будто к ним вышел живой динозавр.

- Hello, - сказал Алексей.

- HELLO! - заорали все трое разом.

Потом самый маленький, в очках, вскочил с ограждения, вытянулся и выпалил, старательно выговаривая каждое слово:

- Hello. My name is Yuto. I am twelve years old. I like baseball. Where are you from?

Двое других смотрели на него с завистью и уважением.

- Russia, - сказал Алексей. - My name is… - он чуть помедлил, - Lyosha.

- Ryo-sha! - сказал Юто.

- Ryo-sha! - повторили двое других, восхищённо. Видимо, это звучало для них как имя самурая.

- I need station, - сказал Алексей. - Train. Where?

Юто наморщил лоб. Это было уже за пределами выученного на уроке. Он посовещался с друзьями - быстро, шёпотом, с жаркими жестами. Потом второй мальчишка, толстый, с пластырем на коленке, вдруг просиял, выхватил у третьего телефон, потыкал в экран и сунул его Алексею под нос.

На экране была карта: синяя точка - они, красная линия - путь, в конце линии - значок поезда.

- Ten minutes! - гордо сказал Юто. - Walk!

- Thank you, - сказал Алексей. - Arigato.

Мальчишки зашлись от восторга, услышав японское слово из его уст.

Он уже повернулся уходить, когда толстый с пластырем дёрнул его за рукав и что-то спросил. Юто перевёл, напряжённо подбирая слова:

- Russia… is cold? Very very cold? Bears?

Алексей присел на корточки, чтобы быть с ними вровень.

- Very cold, - сказал он серьёзно. - Snow - this much. - Он показал рукой выше головы. - And bears. Bears everywhere. In the metro. In the shop. My neighbour - bear.

Он изобразил медведя: поднял руки, скрючил пальцы, рыкнул.

Мальчишки взвыли от счастья. Толстый с пластырем повалился с ограждения на траву и катался там, держась за живот. Третий, молчаливый, вдруг подошёл и очень серьёзно пожал Алексею руку.

Когда Алексей уходил, они кричали ему вслед:

- Bye-bye, Ryo-sha! Bye-bye, bear!

Он шёл и улыбался. Он поймал себя на этом через квартал - что идёт по улице и улыбается, как дурак. Он попробовал перестать - не получилось.

Завтра они будут помнить только, что смеялись над каким-то медведем.

* * *

Станцию он нашёл. Поезд до Токио - тоже. А вот дальше было сложнее.

Без телефона он не мог ни забронировать гостиницу, ни посмотреть, где ближайшая. Карта в кармане работала - в любой стране, в любом банкомате, - но чтобы ею заплатить, нужно было сначала куда-то прийти. Он вышел на какой-то большой станции, названия которой не мог прочитать, и оказался в людском потоке, таком плотном и быстром, что его просто понесло.

Он провёл в Токио весь день.

Он заблудился в подземном переходе, который был больше, чем весь Подольск. Он зашёл в книжный, где не было ни одной книги на понятном языке, и полчаса простоял у полки с мангой, разглядывая картинки. Продавщица подошла, посмотрела, что он держит, и молча, с непроницаемым лицом, принесла ему первый том той же серии. Он купил его. Он не прочтёт в нём ни слова. Но картинки были хорошие.

В парке он сел на первую свободную лавочку, у детской площадки. Рядом мальчик лет четырёх гонял голубей. Его мать подняла глаза от телефона, оглядела Алексея - мокрые кроссовки, рюкзак, мятую куртку, - встала, взяла сына за руку и увела, вежливо и быстро, ни разу не оглянувшись. Алексей не обиделся, он бы на её месте тоже увёл. Просто стало чуть холоднее. Он пересел подальше от площадки и оттуда смотрел, как двое стариков играют в какую-то настольную игру с плоскими фишками. Один, заметив его интерес, махнул рукой - садись. Объяснять правила он не стал, просто показал на доску и на фишку. Алексей наугад сдвинул её. Старик посмотрел на доску, потом на Алексея, потом на своего соперника - и оба покатились со смеху. Он проиграл три партии подряд, ни разу не поняв, что происходит. После третьей старик, вытирая глаза, подарил ему фишку на память.

Он стоял под навесом магазинчика, пока шёл короткий дождь, рядом с девушкой в форме официантки. Она курила и плакала, тихо, не стесняясь. Первым делом, раньше, чем успел о чём-то подумать, Алексей прислушался к тому, что под грудиной. Гул молчал: она была не его, она просто плакала. Он поймал себя на этом, и ему стало неловко. Тогда он протянул ей пачку салфеток из рюкзака. Он не знал японского, она, наверное, не знала английского. Она взяла салфетки, вытерла глаза, кивнула. Они постояли рядом, пока дождь не кончился. Она ничего не рассказала, он ничего не спросил. Потом она сказала что-то короткое, улыбнулась и ушла.

Вот это, пожалуй, и было его умение. Из чужих языков он сносно знал только английский - нахватался за четыре года в аэропортах, гостиницах и такси, а здесь, в Японии, и от него было немного толку. Но он умел стоять рядом. Мама когда-то говорила, что это самое трудное в её профессии - не говорить, не советовать, не чинить. Просто стоять рядом и не уходить.

Он тогда смеялся: «Мам, ну это любой может».

Оказалось, не любой.

* * *

К вечеру ноги гудели, как гудит под грудиной зов. Только по-другому - честно, по-человечески.

Он свернул с большой улицы в переулок, потом в ещё один, всё уже и тише. Здесь стояли старые деревянные дома в два этажа, с раздвижными дверями, с горшками цветов у порога. Над одной дверью висел бумажный фонарь, и на нём была нарисована не только надпись иероглифами, но и простая картинка: кровать и чашка.

Алексей отодвинул дверь.

Внутри было маленькое помещение с деревянным полом, полкой для обуви и запахом чего-то тёплого - супа, может быть, или трав. За низкой стойкой сидел старик с белыми бро-

вями и читал газету через очки, сдвинутые на самый кончик носа. Рядом, на подушке, спала толстая трёхцветная кошка.

Старик поднял глаза.

- Hello, - сказал Алексей. Подумал и показал на фонарь за дверью: на нарисованную кровать. Потом на себя, потом сложил ладони под щекой и закрыл глаза.

Старик глядел на него поверх очков без всякого выражения. Потом встал - оказалось, что он высокий и совсем не сутулый, - и что-то крикнул в глубину дома. Оттуда вышла старушка в фартуке, такая же маленькая и круглая, как старик был высоким. Они посовещались. Старушка оглядела Алексея с ног до головы - мокрые кроссовки, рюкзак, небритые щёки, - вздохнула и показала на полку для обуви. Он разулся.

Рядом с полкой, на низкой тумбочке, стоял домашний алтарь: лакированный шкафчик с открытыми дверцами, чашка риса, тонкая палочка благовоний и фотография в рамке. Парень лет двадцати, в бейсболке, щурился на солнце. Алексей не помнил этого лица, но наверняка сказать не мог: номеров в тетради было тысяча четыреста тринадцать. Тетрадь он доставать не стал.

Ему дали комнату на втором этаже. Маленькую, с полом из плетёных циновок, раздвижной бумажной стеной вместо окна и тонким матрасом, сложенным в углу. Больше в комнате не было ничего. Только низкий столик и на нём - чайник и чашка. Совсем как на фонаре.

Старушка принесла ему ужин на подносе: суп, рис, маленькую жареную рыбку, что-то маринованное и розовое. Поставила и ушла, не дожидаясь благодарности. Старик чуть позже принёс ещё одно одеяло - молча, - положил его на матрас и тоже ушёл. Когда Алексей пытался заплатить, они оба отмахнулись: завтра. Утром. Потом.

Утром они его не вспомнят. И будут очень удивлены, найдя в комнате на втором этаже незнакомые деньги на столике, втрое больше, чем стоит ночь.

Он поужинал. Раздвинул бумажную стену - за ней оказался крошечный балкон и вид на крыши: черепица, провода, чьё-то бельё, и над всем этим - тёмно-синее небо с первой звездой. Он сел на пол, прислонился спиной к стене и достал книгу.

* * *

Книги появились у него в первый год.

При жизни он почти не читал. Раиса Павловна, та самая, что предрекла ему сосиску, в девятом классе сказала, что он единственный в её практике ученик, который умудрился написать сочинение по «Преступлению и наказанию», не открыв книгу. Он тогда гордился. Сочинение было на тройку, но всё-таки.

А потом он умер. И оказалось, что у него впереди бесконечные ночи в самолётах, в гостиницах, на скамейках, в ожидании. И не с кем поговорить, совсем ни с кем.

Первую книгу он купил в аэропорту в Стамбуле, просто потому, что у неё была красивая обложка. Это был Джек Лондон, «Мартин Иден», потрёпанное русское издание в книжном для эмигрантов. Про парня, который не учился, работал где попало, руками, а потом сам, ночами, через книги, сделал из себя другого человека. Алексей прочитал его за ночь, в самолёте, не отрываясь. А когда дочитал - сидел и смотрел в окно до самой посадки, потому что не мог ни о чём думать.

С тех пор он читал всегда.

Он покупал книги в каждой стране - на русском, если удавалось найти, на английском, если нет. Читал медленно, с карандашом. А дочитав, оставлял. На скамейке в парке. На полке в гостинице. В зале ожидания в аэропорту. Он никогда не возил с собой больше одной книги. Рюкзак не резиновый, а библиотеки у него не могло быть: библиотека - это дом, а дома у него не было.

Но было одно, чего он никому не рассказывал. Даже мёртвым.

На полях он писал.

Не умное, не цитаты - просто разговаривал. С книгой, с автором, с героем. С тем, кто будет читать после него. «Вот тут он прав». «А я бы не смог». «Мама бы сказала, что это защитная реакция». «Даш, тебе бы понравилось». Иногда - смешное. Иногда - такое, от чего потом становилось неловко.

Его самого забывали за сутки. Его голос, его лицо, его имя.

А карандашные строчки на полях оставались.

Где-то в мире - в Стамбуле, в Лиссабоне, в Детройте, в Каире, в Неаполе - лежали сейчас книги, исписанные его почерком. И кто-то, может быть, брал одну из них в руки, открывал, натыкался на его «а я бы не смог» - и думал: кто это написал? Что это был за человек? И, может быть, улыбался. Это был единственный способ, которым Алексей Кожевников ещё разговаривал с живыми.

* * *

Сейчас он читал «Отверженных». Толстая книга, первый том, купленная в русском магазине в Дубае. Сто страниц он прочитал ещё в самолёте, когда летел сюда, - про епископа, у которого украли серебро, а он отдал ещё и подсвечники.

Он открыл книгу на закладке. Закладкой был посадочный талон Дубай - Токио.

Внизу, в доме, тихо переговаривались старик со старушкой. Кошка, наверное, спала на своей подушке. Где-то за черепичными крышами шумел огромный город, в котором сегодня кто-то, может быть, тоже умирал, - но не здесь и не сейчас, гул под грудиной молчал.

Алексей прочитал страницу, потом ещё одну, потом взял карандаш и написал на полях, мелко, своим неровным почерком:

«Огава бы с ним подружился. Оба вежливые».

Подумал и дописал ниже:

«Сегодня меня покормили, подарили фишку, и я был медведем. Хороший день».

Он закрыл книгу, положил её рядом с подушкой. Раскатал матрас. Укрылся двумя одеялами - тем, что было, и тем, что принёс старик.

И уснул почти сразу. Впервые за много месяцев - без снов.

Глава 5. Комната 302

Гул разбудил его на рассвете.

Алексей не сразу понял, что проснулся. Ему показалось, что он ещё во сне, и во сне кто-то водит ножом по стеклу. Звук был не в ушах - под грудиной, там, где всегда. Но не такой, как всегда.

Обычный зов звучал, как камертон: чисто, низко, ровно. Одна нота, без сомнений, без колебаний. Так звучит то, что уже решено.

А этот - дребезжал.

Рвался, сбивался, срывался на визг и снова проседал. Будто кто-то ударил в камертон, а камертон оказался треснутым. И это был не один звук. Их было несколько - три, понял Алексей, когда сел на матрасе и прижал ладонь к груди. Три треснутых камертона, звенящих вразнобой, наперебой, в одном месте.

Он закрыл глаза и стал ждать, когда придёт знание.

Оно пришло, но тоже - рывками, кусками. Направление: на запад, далеко, километров четыреста. Город: большой, но ниже и шире Токио, с широкой рекой. Окраина. Старый многоквартирный дом, пять этажей, бетон в потёках. Время… время прыгало. Без двух двенадцать. Двенадцать ноль две. Двенадцать ноль шесть. Три точки на циферблате, близко-близко друг к другу. Сегодня ночью.

Алексей открыл глаза. Такого не было никогда.

Он видел массовые смерти. Конечно, видел - за четыре года ему встречалось всякое. Под Манилой он однажды встречал сразу сорок семь человек с перевернувшегося парома. Гул тогда был оглушительный, но ровный - сорок семь чистых нот, одна к одной. А в горах, в первую осень, нот было семьсот двенадцать, и они сливались в один сплошной звук. Тоже ровный. Решено, предрешено, изменить нельзя.

А эти ноты дребезжали. Так звучит то, что ещё не решено.

Он сидел на тонком матрасе в маленькой комнате с бумажной стеной, и до него медленно доходило, что это значит.

Иногда, в самые тёмные ночи первого года, он думал: почему именно этот человек? Каждый день в мире умирают десятки тысяч людей, а гул звал его к одному. Иногда к двум. Иногда к сорока семи. Но никогда - ко всем. Кто выбирал? По какому принципу? Он так и не нашёл ответа и перестал спрашивать.

Но одно он знал точно: то, что звенело ровно, - сбывалось. Всегда.

А то, что дребезжит…

Он встал, свернул матрас, положил на низкий столик деньги - втрое больше, чем стоит ночь, - и спустился вниз. Старик с белыми бровями уже сидел за стойкой с газетой. Трёхцветная кошка спала на подушке. Старик поднял на него глаза поверх очков - вежливо, как на незнакомого гостя. Ночью он спал. Вчерашнего постояльца для него больше не было.

Алексей поклонился ему - медленно, правильно, как учила вчерашняя старушка у храма.

Старик кивнул в ответ.

* * *

Билет на скоростной поезд он купил в кассе на вокзале, пальцем показывая на табло. Кассирша поняла с полуслова, и через два с половиной часа он стоял на перроне в Осаке.

Гул вёл его дальше. Электричка, ещё одна. Автобус, на котором он ехал, пока гул не сказал: здесь.

Окраина. Улица вдоль бетонного канала, засохшая трава на откосах, вывеска стоматологии, закрытый магазин с опущенными жалюзи - и дом.

Он был таким, каким Алексей увидел его утром, только ещё хуже. Пять этажей серого бетона с ржавыми потёками от каждого балкона, как будто дом долго плакал ржавчиной. Наружная лестница - открытая, с бетонными перилами, по которой надо было подниматься на этажи. Половина окон - тёмные, некоторые заклеены изнутри газетами. На двери подъезда висело объявление на жёлтой бумаге, сплошь иероглифы. Алексей не смог прочитать ни слова, но разглядел внизу дату - через полгода - и нарисованный значок экскаватора.

Дом шёл под снос. Жильцов расселяли. Те, кто ещё не уехал, - либо не могли, либо не хотели.

Гул здесь не дребезжал - визжал. Три треснутых камертона - и под ними, глубже, ещё что-то, четвёртое. Скорее отсутствие звука, чем звук. Как будто в одном месте дома в воздухе была дыра, и туда всё время что-то утекало.

Алексей поднял голову. Третий этаж, вторая дверь от лестницы. Окно было заклеено газетами изнутри. Над окном - ещё одна жёлтая бумажка, приклеенная прямо к бетону.

В этом окне ничего не горело. Но лампа над дверью этой квартиры, на открытой галерее, - мигала. Ровно, раз в несколько секунд. Средь бела дня.

* * *

Мяч прилетел ему в голову, когда он стоял и смотрел вверх.

Не больно - лёгкий резиновый мяч, красный с белой полосой. Он отскочил от затылка Алексея и покатился по асфальту. А сверху, с лестницы второго этажа, донеслось испуганное:

- А!

Мальчишка лет семи, в шортах и футболке с каким-то мультяшным роботом. Тощий, с ободранными коленками и с такой стрижкой, будто его подстригали дома, на кухне, на скорую руку. Он стоял, вцепившись в бетонные перила, и смотрел на Алексея огромными глазами - очевидно, прикидывая, ругать его будут или нет и стоит ли бежать прямо сейчас.

Алексей поднял мяч, подбросил на ладони и кинул ему обратно - не сильно, навесом.

Мальчишка поймал. От неожиданности - двумя руками и животом.

И в ту же секунду гул под грудиной Алексея взвизгнул так, что он чуть не согнулся пополам.

Двенадцать ноль шесть. Один из трёх.

Мальчишка уже спускался по лестнице - с опаской, но с любопытством, держа мяч перед собой. Остановился на последней ступеньке.

- …? - Он что-то спросил. Алексей не понял слов. Понял только интонацию: «ты кто?»

- Lyosha, - сказал Алексей и показал на себя. Потом показал на мальчишку и поднял брови.

- Кэнта, - сказал мальчишка. Подумал и добавил ещё одно слово - наверное, «семь», потому что показал семь пальцев.

- Кэнта, - повторил Алексей.

Кэнта кивнул. Потом очень серьёзно показал на мяч, потом на Алексея, потом на свободный пятачок асфальта у подъезда. И снова поднял брови. Выглядело это так, будто он предлагал деловое сотрудничество.

Алексей посмотрел на часы над стоматологией напротив. Четыре часа дня. Восемь часов до того, как треснутые камертоны начнут звенеть по-настоящему.

- Okay, - сказал он. - Давай.

* * *

Они играли в мяч полчаса. Потом сидели на ступеньках. Потом Кэнта притащил из дома альбом и карандаши и стал рисовать.

Из того, что Алексей понял - по рисункам, по жестам, по нескольким английским словам, которые Кэнта знал («mom», «work», «night», «hungry»), - вышло вот что. Кэнта жил на четвёртом этаже, с мамой. Мама работала. Днём где-то, потом ночью где-то ещё. Папы не было

- на этот вопрос Кэнта нарисовал просто пустой квадрат и пожал плечами, так обыденно, что Алексей больше не спрашивал. Вечером мама приходила, кормила его, укладывала, а потом уходила на ночную смену. Он оставался один - он привык, он большой, ему семь.

На последнем рисунке Кэнта нарисовал дом - пять этажей, квадратные окна. Своё окно на четвёртом он закрасил жёлтым. А одно окно на третьем - чёрным. Плотно, с нажимом, так, что карандаш прорвал бумагу.

И нарисовал рядом с этим окном человечка - с длинными руками, без лица.

- Ji-ji, - сказал Кэнта и сморщил нос. Потом зажал его пальцами. Потом сказал что-то быстро, шёпотом, оглянувшись на лестницу, и сделал страшные глаза.

«Дедушка», - понял Алексей. Слово «дзидзи» он знал: так звали стариков в аниме, которое он когда-то смотрел.

Дедушка из чёрного окна, который пах.

Кэнта показал пальцем вверх, на третий этаж, на мигающую лампу. Потом нарисовал рядом с домом машину с крестом - скорую. Потом лестницу и падающего с неё человечка. Потом ещё одну машину.

- Ji-ji, - сказал он опять, совсем тихо.

* * *

Кобаяси-сан появилась, когда начало темнеть.

Она вышла из квартиры на втором этаже - крошечная, совершенно седая, в цветастом халате поверх брюк, с пакетом в руках. Внизу, у подъезда, её уже ждали - три тощие уличные кошки вышли из-под ржавой машины и потянулись к ней, задрав хвосты. Она присела на корточки - медленно, держась за перила, - и стала раскладывать по крышечкам от банок какой-то корм. Кошки ели. Она их гладила и что-то им говорила, тихо и ласково.

Потом увидела Кэнту на ступеньках и Алексея рядом с ним.

Лицо её сразу стало строгим. Она что-то спросила у Кэнты резким голосом, одним длинным предложением. Кэнта ответил, показывая на Алексея, на мяч, на рисунки. Кобаяси-сан выслушала, поджав губы. Потом встала, подошла к Алексею вплотную, задрала голову - она была ему по грудь - и с подозрением разглядывала его: куртку, рюкзак, руки, кроссовки. На лице её взгляд не держался, всё время съезжал куда-то на плечо.

Алексей стоял и не двигался. Он понимал её. Незнакомый иностранец сидит на лестнице с чужим ребёнком, когда темнеет. Он бы на её месте тоже так смотрел.

А гул под грудиной в эту секунду взвизгнул снова.

Без двух двенадцать, двадцать три пятьдесят восемь. Ещё одна из трёх.

Он смотрел на неё сверху вниз - на её седую макушку, на цветастый халат, на руки в старческих пятнах - и не мог отвести глаз.

Кобаяси-сан, видимо, что-то в нём разглядела. Строгость в её глазах дрогнула, сменилась удивлением. Она коротко сказала что-то Кэнте, махнула рукой, мол, ладно, и ушла к себе. Через десять минут вернулась с двумя мисками риса с овощами. Одну сунула Кэнте. Другую, после секундного колебания, - Алексею.

Потом ткнула пальцем в Кэнту, потом в Алексея, потом в часы на руке - и сделала строгое лицо. Это было понятно на любом языке: «Чтоб не поздно».

- Arigato, - сказал Алексей.

Она фыркнула - то ли насмешливо, то ли довольно - и ушла.

* * *

Мать Кэнты пришла в восемь, усталая, с пакетами, в форменной куртке какого-то магазина. Молодая, очень худая, с красными от недосыпа глазами. Увидев незнакомца с сыном, она вся напряглась. Кэнта бросился к ней и стал быстро-быстро рассказывать, показывая на Алексея. Она слушала, не сводя с Алексея глаз.

Алексей поднялся, отошёл на шаг и поклонился. Сказал по-английски: «Sorry. I just… played. Ball». И показал на мяч.

Она поняла - не до конца, но поняла, - кивнула, коротко и настороженно, взяла сына за руку и увела наверх.

Кэнта на лестнице обернулся и помахал ему рисунком.

Через полчаса мать вышла снова - уже в другой куртке, тёмной, с рюкзаком - и спустилась по лестнице бегом. Ночная смена. Её гула Алексей не слышал: её смерть сегодня не ждала.

Алексей шагнул ей навстречу.

- Please, - сказал он. - Tonight… Don't leave him. Take him with you. Please.

Она остановилась. Из всего, что он сказал, она поняла, кажется, одно: чужой мужчина, который полдня просидел на лестнице с её сыном, просит, чтобы сын этой ночью не оставался дома. Лицо у неё стало белое и злое. Она сказала что-то быстро и резко, и в конце - одно слово, которое он знал: «кэйсацу». Полиция. Прижала к себе рюкзак и почти бегом пошла к остановке, оглядываясь.

Он не пошёл за ней. Он бы на её месте тоже так оглядывался.

Кэнта остался наверху один. Жёлтое окно на четвёртом этаже горело. Двенадцать ноль шесть.

Полицейская будка стояла через две улицы, у моста через канал, - стеклянная, с красным фонарём над дверью. Алексей видел её днём из автобуса. Он пошёл туда сам.

Молодой полицейский в белых перчатках выслушал его, вежливо наклонив голову. «Danger. Tonight. That house. People will die». Переспросил. Взял фонарик и пошёл с ним - честно пошёл, через две улицы, к дому под снос. Посветил на лестницу, на окна, на мигающую лампу на третьем этаже. Принюхался. Ничего: ни дыма, ни запаха газа, ни криков. Старый дом, в котором люди ложатся спать.

Полицейский что-то записал в блокнот, поклонился и ушёл обратно в свою будку. Он был вежлив и ничего не мог сделать. Как и Алексей.

* * *

Третьего Алексей нашёл сам, когда пошёл осматривать дом.

На первом этаже, в квартире у самой лестницы, дверь была приоткрыта, и оттуда несло перегаром и жареной рыбой. Внутри орал телевизор. На полу прихожей, прямо в ботинках, спал мужчина лет пятидесяти, в майке, с пустой бутылкой в руке, и храпел.

Двенадцать ноль две. Алексей потряс его за плечо, потом сильнее. Мужчина замычал, отмахнулся, не открывая глаз, и снова захрапел. Вытащить его на улицу? А дальше что - сидеть с ним до утра на асфальте и держать, пока он не уползёт обратно? Алексей постоял над ним. Потом аккуратно забрал из его руки бутылку и поставил на полку для обуви.

Три треснутых камертона. Пьяный на первом этаже. Кобаяси-сан на втором. Кэнта на четвёртом.

И над ними всеми - третий этаж. Вторая дверь от лестницы. Мигающая лампа. Дыра в воздухе, в которую что-то утекает.

Он перебрал всё, что мог. Мать не поверила. Полицейский не увидел. Пьяного не разбудить. Кобаяси-сан не поймёт ни слова и не уйдёт ночью из дома по слову чужого иностранца. Он один, их трое, на трёх этажах, и никто из них его не понимает. Увести их отсюда он не может.

Но дребезжало-то не только вокруг них. Под тремя нотами, глубже, была дыра. Всё, что дребезжит, ещё не решено. Значит, кто-то это решает. И этот кто-то - не на первом, не на втором и не на четвёртом.

Алексей поднялся на третий этаж и остановился перед этой дверью.

* * *

Над дверью ещё держалась пластиковая табличка с номером - 302. Жёлтая бумажка на двери была печатью. Он понял это по красному штампу. Квартиру опечатали. Давно - бумажка выцвела и пошла волнами от дождей. Почтовый ящик у двери был забит так, что крышка не закрывалась. Из щели торчали рекламные листовки, счета, конверты. Сверху - свежее. А в глубине - пожелтевшее, старое. Месяцы почты. В Японии для этого есть отдельное слово - «кодокуси». Одинокая смерть. Если для чего-то придумали отдельное слово, значит, это бывает часто.

Лампа над дверью мигала.

Алексей положил ладонь на дверь - и отдёрнул. Дверь была ледяная. Сквозь ладонь до самого локтя прошла дрожь.

Он постоял, потом снял рюкзак и поставил его у стены. Подумал - и вынул из рюкзака тетрадь, переложил во внутренний карман куртки, ближе к груди.

Он не мог пройти сквозь дверь, как мёртвые. Но дверь была старая, с хлипким замком, а печать - просто бумажка. Он нажал плечом - раз, другой. На третий раз замок с сухим хрустом вылетел из гнилого косяка, и дверь распахнулась.

Изнутри ударил запах.

Не гнили - гниль давно выветрилась. Пахло пылью, старой бумагой, сыростью и ещё чем-то, чему не было названия. Так пахнет время, если его оставить в закрытой комнате и забыть.

Квартира была пустая - почти. Мебель вывезли - остались только следы на полу, светлые квадраты там, где стояли шкаф, стол, кровать. На одной стене висел календарь, старый, позапрошлогодний, открытый на марте. На подоконнике стояли три засохших цветочных горшка. В углу лежала стопка газет, перевязанная бечёвкой, - видимо, её собирались вынести, да так и не вынесли. И у окна, спиной к нему, лицом к газетам, которыми было заклеено стекло, стоял старик.

* * *

- Уходи, - сказал старик.

Он не обернулся.

Алексей понял его сразу - каждое слово. Мёртвые всегда говорили с ним на одном языке, каким бы ни был их собственный.

- Меня зовут Алексей, - сказал он. - Я…

- Я знаю, кто ты. - Старик повернулся.

В первую секунду Алексей не узнал в нём человека. Вернее, узнал только форму человека - она ещё держалась: старик, высокий, сутулый, в вязаной кофте, в брюках с отвисшими коленками. Но лица у него не было. Не то что не было - оно было, но стёрлось, как стирается рисунок на монете, которую слишком долго держали в кармане. Глаза, нос, рот - только намёки, тени, ямки. Руки висели почти до колен - длинные, слишком длинные.

Таким его и нарисовал Кэнта.

- Ты тот, кто приходит, - сказал старик. Голос был сухой и шуршащий, как газеты в углу. - Я слышал о тебе. Здесь, между… Тут слухи ходят, знаешь ли. Даже здесь. Тот, кто приходит к мёртвым. Сидит рядом. Держит за ручку. Ведёт к двери.

- Да.

- А ко мне ты не пришёл.

Лампа над дверью - та, снаружи, - мигнула и погасла. В комнате стало совсем темно, только серый свет фонаря пробивался сквозь газеты на окне.

- Меня звали Ямада Сигэру, - сказал старик. - Восемьдесят один год. Тридцать два года в этой квартире. Жена умерла в этой квартире. Сын уехал в Нагою и не звонил одиннадцать лет. - Он сделал шаг вперёд. - Я упал в ванной. В марте. Ударился головой. Я не умер сразу. Я лежал там два дня. Я звал. Здесь тонкие стены, ты видел, здесь всё слышно. Я звал. Они ходили мимо. Двери хлопали. Кто-то включал телевизор. Кто-то спускал воду в туалете. Кто-то смеялся.

Он сделал ещё шаг.

- Потом я перестал звать. А потом я встал и вышел из ванной. И увидел себя на полу. - Пауза. - И никто не пришёл. Никто. Ни ты, ни кто другой. Я ждал. Я сидел здесь и ждал. Три месяца, пока меня не нашли. Три месяца я сидел рядом с собой и ждал, что кто-нибудь придёт.

Алексей молчал. Почему?.. Почему он не пришёл? Он не чувствовал этого человека - никогда. Гул никогда не звал его сюда. Значит, этот человек был не его. А чей? Был ли вообще чей-то? Или Ямада Сигэру просто… провалился? Мимо всех? Как сам Алексей - мимо всех весов?

- Я не знаю, - сказал Алексей честно. - Я не знаю, почему не пришёл. Меня не позвали.

- Не позвали, - повторил старик. И засмеялся. Смех этот был хуже любого крика. - Не позвали. Меня тоже никто не позвал. Никто не позвал меня за все тридцать два года ни на один праздник в этом доме. Знаешь, как в этом доме меня звали? Дети? «Вонючий дедушка». Я слышал. Я всё слышал. Я и сейчас всё слышу.

Он вскинул голову к потолку. К четвёртому этажу.

- Этот мальчишка, - прошипел он. - Бегает по лестнице. Стучит мячом. Стучит, стучит, стучит. Я звал два дня - никто не услышал. А его мячик слышат все.

- Он ребёнок, - тихо сказал Алексей. - Ему семь лет.

- Ему семь лет! - завизжал старик, и в окне за его спиной одна из газет с треском лопнула поперёк. - А эта старая карга на втором! Кошек она кормит! Кошек! Тридцать два года - «здравствуйте, Ямада-сан», «до свидания, Ямада-сан» - и ни разу, ни разу не зашла! Кошек кормит! А пьянь на первом!.. Они все! Все! Сегодня!

Где-то в стене, глубоко, затрещало.

Алексей понял это раньше, чем увидел: проводка. Старый дом. Старая проводка, в стенах, в бетоне, по которой сейчас, прямо сейчас, бежало что-то, чего не должно было там быть. Он увидел, как над головой старика с потолка посыпалась мелкая пыль, как тонкой паутиной пробежала по штукатурке трещина - от угла к лампе.

Пожар - вот что это будет. Старый дом, в котором никто не проверял проводку с восьмидесятых. Ночь, все спят. Лестница наружная, но выход с каждого этажа - один. Через двадцать минут половина дома будет в дыму.

Часов в квартире не было, но гул под грудиной знал время точнее любых часов: без двадцати.

- Ямада-сан, - сказал он. - Остановитесь.

- Нет.

- Ямада-сан, вы не такой. Я вижу. Вы ещё не…

- Не такой? - Старик шагнул вперёд, и его длинные руки дёрнулись. - Ты не знаешь, какой я. Никто не знает, какой я. Никто никогда не спросил!

И бросился на него.

* * *

Мёртвые могли касаться только его, и он мог касаться их. Это Алексей знал давно: пожать руку, придержать за плечо, посидеть рядом.

Но он ещё никогда не пробовал удержать того, кто рвётся на него сам.

Длинные руки вцепились ему в горло, и холод был такой, что у Алексея потемнело в глазах. Не холод - пустота: из него выкачивали тепло, жизнь, всё, что делало его кем-то, и оставляли оболочку. Он захрипел. Он упал спиной на пол, на светлый квадрат, где когда-то стояла кровать, и старик навалился сверху, лёгкий, как бумага, и тяжёлый, как бетонная плита.

Алексей схватил его за запястья.

И пальцы сомкнулись - схватили и держали.

Старик замер. Его стёртое лицо дрогнуло, ямки на месте глаз расширились.

Алексей держал его. Холод шёл в руки, в плечи, в грудь, он не чувствовал пальцев, но держал. Он перевернулся, подминая старика под себя, - тот почти ничего не весил, - и прижал его длинные руки к полу.

- Ямада-сан, - прохрипел он. - Послушайте меня. Я вас слышу. Вы говорите - никто не слышал. Я слышу. Сейчас. Я…

Старик выгнулся под ним - и закричал.

Это был звук, от которого в окне лопнули все оставшиеся газеты разом и бумажные клочья полетели по комнате. И от которого где-то внизу, на втором этаже, в стене, громко, сочно щёлкнуло - так щёлкает пробка, которую выбивает перегрузка. Свет погас во всём доме. И почти сразу - запахло дымом.

* * *

Алексей знал, что если отпустит, старик уйдёт. Растворится в стенах, в проводке, в темноте, и найти его снова будет почти невозможно. Он держал его. Дрожащими, онемевшими руками, весь застывший от холода.

А гул под грудиной сошёл с ума.

Все три камертона завизжали разом - громче, ближе, острее. Без двух двенадцать, двенадцать ноль две, двенадцать ноль шесть. Время, которое ещё полчаса назад было абстрактным, вдруг стало близким.

И он понял: держа старика здесь, он не остановит огонь. Огонь уже был в стенах. Огонь уже не нуждался в старике.

Он разжал руки.

Старик под ним рассыпался - не исчез, а именно рассыпался, как ворох сухих газет, по комнате, по углам, в стены. Где-то в темноте прошуршал его смех.

Алексей вскочил и бросился к двери.

* * *

На открытой галерее уже стоял дым. Серый, густой, он валил снизу - со второго этажа, из-под двери одной из квартир, из щелей в стенах, из вентиляционных решёток. Тянуло гарью и горящим пластиком. Где-то внизу трещало.

Второй этаж, Кобаяси-сан, без двух двенадцать.

Четвёртый этаж, Кэнта, двенадцать ноль шесть.

Первый этаж, пьяный, двенадцать ноль две.

На стене галереи, у лестницы, - красная коробка с кнопкой. Пожарная сигнализация. Это не требовало перевода, она одинаковая во всём мире. Алексей ударил по ней кулаком, разбив пластиковую крышку. Дом взвыл - пронзительный, мерзкий звон пошёл по всем этажам.

Он перегнулся через перила. Внизу, на первом этаже, распахнулась дверь, и из неё, шатаясь, в майке и босиком, вывалился пьяный мужчина - тот самый. Он стоял на асфальте, озираясь, ничего не понимая, держась за голову руками.

Гул «двенадцать ноль две» дрогнул - и погас.

Живой: просто проснулся от звонка и вышел. Вот и всё. Вот и всё, что было нужно. Алексей сбежал по лестнице на второй этаж.

* * *

Дверь Кобаяси-сан была заперта.

Из-под неё валил дым - чёрный, плотный. Квартира была как раз над тем местом, где в стене щёлкнуло. Алексей заколотил в дверь кулаками.

- Кобаяси-сан! Кобаяси-сан! Fire!

Тишина, только треск внутри и сигнализация, которая выла над головой.

Она не слышала. Может, она спала в наушниках, как Хана. Может, у неё был слуховой аппарат, и она снимала его на ночь - восемьдесят с лишним лет, конечно, снимала. Может, она уже наглоталась дыма.

Он ударил в дверь плечом. Дверь была новее и крепче, чем у Ямады, металлическая. Не поддалась. Он ударил ещё раз - плечо прострелило болью до самого уха.

Без двух двенадцать. Гул звенел в груди.

И сверху - с четвёртого этажа, через рёв сигнализации, сквозь дым, - он услышал кашель.

Детский кашель, тонкий, захлёбывающийся.

И голос, который звал одно слово, снова и снова.

- Мама! Мама! Мама!

Двенадцать ноль шесть.

Алексей стоял у металлической двери. Его рука лежала на ней, ладонью, - дверь уже была горячей.

За дверью - женщина, которая несколько часов назад сунула ему в руки миску риса. Которая кормит уличных кошек. Которая была ему по грудь и смотрела снизу вверх строго и подозрительно, а потом - удивлённо, как будто увидела в нём что-то, чего он сам о себе не знал.

Наверху - ребёнок, семь лет, мяч, красный с белой полосой.

Эту дверь ему не выбить. Не за ту минуту, что у него есть. Может, за пять. Может, если найти что-нибудь тяжёлое. Может.

А там, наверху, дым поднимается вверх. Дым всегда поднимается вверх.

Он не знал, сколько стоял. Секунду, две, целую жизнь.

- Простите, - сказал он двери по-русски.

И побежал наверх.

* * *

Он не помнил потом, как поднимался. Помнил только, что дым на лестнице был такой, что приходилось идти почти вслепую, держась за перила, и что резало глаза. Помнил, что на третьем этаже, у распахнутой двери Ямады, ему почудился в дыму высокий сутулый силуэт с длинными руками - и он пробежал мимо, не оборачиваясь.

Дверь на четвёртом была не заперта. Мать, наверное, просила Кэнту запираться, а он забыл. Семилетние всегда забывают.

Кэнта был в прихожей. Он сидел на полу, прижавшись спиной к стене, в пижаме, с подушкой, обхватив колени, и кашлял. Он сделал всё неправильно - он не побежал на улицу, он спрятался. В углу, где ему казалось безопаснее всего. Дети всегда прячутся.

Он прижимал к груди что-то. Алексей не сразу разглядел: красный мяч с белой полосой и альбом с рисунками.

Алексей подхватил его на руки. Кэнта вцепился ему в шею - так, как в токийском караоке висел у него на шее Кавасима. Алексей натянул ему на лицо край своей куртки, прижал его голову к плечу.

- Держись, - сказал он по-русски. - Держись, малой. Всё. Я здесь.

Кэнта не понимал ни слова. Но держался.

Вниз было хуже, чем вверх. Дым на втором этаже стал совсем чёрным, и сквозь него, в окне Кобаяси-сан, уже было видно оранжевое, живое, пляшущее. Алексей не смотрел. Он бежал мимо, прижимая к себе мальчика, на ощупь, по ступенькам, считая их. Его гул под грудиной звенел, визжал, разрывался - он уже не различал, где какой.

А потом, на последнем пролёте, когда до асфальта оставалось несколько ступенек, один из звуков смолк.

Без двух двенадцать.

Не дрогнул, не погас, как погасла нота пьяного, - а оборвался. Так, как обрывается всегда.

Алексей сбежал на асфальт. Ноги подогнулись, он упал на колени, не выпуская мальчика из рук. Кэнта кашлял ему в плечо - живой, тёплый.

Двенадцать ноль шесть - замолчала. Просто стихла, растаяла, как тает звук, когда уходишь далеко. Живой.

* * *

Потом было много всего.

Вой сирен. Красные машины, люди в шлемах, струи воды, бьющие в окна второго этажа. Соседи из других домов, выбежавшие в пижамах и халатах. Пьяный мужик с первого этажа, который ходил среди всех, держась за голову, и повторял одну и ту же фразу. Кто-то накинул на Кэнту одеяло. Кто-то пытался забрать его у Алексея, а Кэнта не отпускал - держал его за шею мёртвой хваткой и не отпускал.

Потом, через полчаса, из темноты, из подъехавшего такси, выбежала его мать. Она бежала, не разбирая дороги, в своей тёмной куртке, с распущенными волосами. Она кричала одно слово - имя.

- Кэнта! Кэнта!

Кэнта разжал руки.

Он рванулся к ней - и она поймала его, упала с ним на колени прямо на мокрый асфальт, и прижала к себе, и закричала уже не словами, а так, как кричала когда-то в Подольске его, Алексея, мать, - звуком, который рождается раньше голоса.

Кэнта у неё на руках повернулся. Показал на Алексея пальцем. Что-то быстро сказал. Мать подняла глаза.

Алексей отступил на шаг, потом ещё на один, потом в толпу.

Он видел, как мать ищет его глазами. Как не находит. Как Кэнта, у неё на руках, выворачивает шею, высматривая. Потом машет - просто машет в темноту, в толпу, наугад, рукой, в которой всё ещё был зажат красный мяч с белой полосой.

Завтра Кэнта его не вспомнит. Будет помнить мяч - что кто-то кидал ему мяч у подъезда и что в дыму было почему-то не страшно. Мама решит, что его вынес пожарный. И Кэнта согласится: пожарный. Наверное, пожарный.

Но он будет жив. Вот что останется.

* * *

Алексей сидел на бордюре через дорогу, у бетонного канала, и смотрел, как пожарные тушат второй этаж.

Он не чувствовал рук. Пальцы, которыми он держал старика, до сих пор не гнулись - белые, как у утопленника. На горле, он знал, остались следы. Не синяки - что-то другое. Холодные полосы.

Плечо болело от двери, которую он так и не выбил.

Он смотрел на окно Кобаяси-сан. Сейчас там уже не было огня - только чёрный проём, из которого шёл пар. Пожарные выносили что-то на носилках. Он не смотрел, что именно. Он знал.

А потом она вышла прямо из стены дома, сквозь бетон, сквозь пожарных, сквозь воду, бьющую из шлангов. Маленькая, совершенно седая, в цветастом халате поверх брюк. Она шла через двор медленно, осторожно, оглядываясь на место, где прожила много лет.

Кошки, сидевшие под ржавой машиной, повернули головы ей вслед. Все три - и не зашипели.

Она увидела его на бордюре, остановилась, подошла. Встала прямо перед ним - она была ему по грудь, когда он стоял, а сейчас, когда он сидел, их глаза оказались на одном уровне.

- Ты, - сказала Кобаяси-сан.

И Алексей понял её - каждое слово, впервые.

Они весь вечер прожили рядом, и он не понимал ни слова из того, что она говорила. Понадобилось, чтобы она умерла.

- Да, - сказал он. - Я.

Она смотрела на него тем самым взглядом - снизу вверх, строго и подозрительно, который он видел днём.

- Ты пришёл к моей двери, - сказала она. - Я слышала. Сквозь сон. Я подумала - кто-то стучит. А потом подумала - показалось. А потом ты ушёл.

- Да.

- Наверх.

- Да.

Кобаяси-сан посмотрела на дом. Наверх, на четвёртый этаж, на тёмное окно Кэнты.

- К мальчику, - сказала она.

- Да.

Она кивнула. Медленно, как кивают сами себе, когда сходится трудная задача.

Потом села рядом с ним на бордюр. Аккуратно, по-старушечьи, придерживая халат на коленях. Они сидели и смотрели, как пожарные сворачивают шланги.

- Правильно, - сказала Кобаяси-сан.

Алексей закрыл лицо руками. Онемевшими, белыми, холодными. И просидел так долго. Она не мешала. Она сидела рядом. Просто сидела рядом и не уходила.

* * *

Когда он наконец отнял руки от лица, она смотрела не на него. Она смотрела наверх, на третий этаж. На вторую дверь от лестницы. На окно, где вместо газет теперь была чёрная пустота.

Алексей тоже посмотрел туда.

В пустом окне, в темноте, стоял высокий сутулый силуэт. Руки почти до колен, без лица.

Он смотрел вниз - на них двоих. Он не уходил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.